

Ноам Хомский

О природе и языке

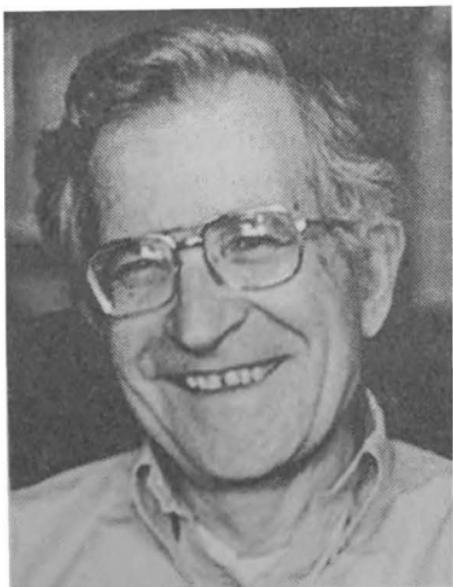


«Я считаю, что эта книга является самым исчерпывающим обзором взглядов Хомского на широкий спектр проблем. Главы, посвященные лингвистической теории, являются интеллектуальной основой для ставшей в последнее время влиятельной и очень важной Минималистской программы лингвистической теории».

*Иан Робертс,
Кембриджский университет*

«С характерной для него ясностью и проницательностью Хомский говорит об исследовании языка и мышления в контексте истории науки и современной неврологии, разъясняет общий характер и развитие своей Минималистской программы — пожалуй, самого революционного проекта в истории лингвистики».

*Роберт Фрейдин,
Принстонский университет*



Ноам ХОМСКИЙ

Профессор отделения лингвистики
и философии Массачусетского
технологического института

Noam Chomsky

Institute Professor at the Department of Linguistics
and Philosophy, Massachusetts Institute of Technology

ON NATURE AND LANGUAGE

With an Essay on

“The Secular Priesthood and the Perils of Democracy”

Edited by

Adriana Belletti and Luigi Rizzi

Cambridge University Press
2002

Н. Хомский

О ПРИРОДЕ И ЯЗЫКЕ

**С очерком: Секулярное священство
и опасности, которые
тант демократия**

Перевод с английского
П. В. Феденко

МОСКВА



Хомский Ноам

О природе и языке. С очерком «Секулярное священство и опасности, которые таит демократия»: Пер. с англ. — М.: КомКнига, 2005. — 288 с.

ISBN 5-484-00194-3

В этой книге собраны лекции и интервью известного американского лингвиста и общественного деятеля Ноама Хомского, в которых он излагает свои взгляды на связь науки о языке с биологическими науками, на отношение между языком, мышлением и мозгом. В книге обсуждается подход, основанный на идеях о том, что универсальная грамматика представляет собой систему принципов и параметров; этот подход обеспечивает потенциальное решение логической проблемы усвоения языка. Автор также говорит об экономном устройстве языка и описывает положения Минималистской программы. Заключительная глава книги отражает общественно-политический аспект деятельности Хомского — это очерк, посвященный критике роли интеллектуальной элиты западных стран в оправдании внешней политики этих государств или замалчивании ее негативных последствий.

Книга рекомендуется филологам, психологам, политологам, а также всем, кого интересуют проблемы языка в аспекте его связей с биологическими науками и проблемы политических веяний в современном мире.

Редакторы-составители английского издания:

Адриана Беллетти, Луиджи Риззи

Ответственный редактор *В.Д. Мазо*

Издательство «КомКнига». 117312, г. Москва, пр-т 60-летия Октября, 9.
Подписано к печати 22.07.2005 г. Формат 60×88/16. Печ. л. 18. Зак. № 164.

Отпечатано в ООО «ЛЕНАНД». 117312, г. Москва, пр-т 60-летия Октября, д. 11А, стр. 11.

ISBN 5-484-00194-3 (рус.)

ISBN 0-521-01624-X (англ.)

© Noam Chomsky,

Adriana Belletti,

Luigi Rizzi, 2002

© КомКнига, 2005

Оглавление

Предисловие	7
--------------------------	----------

Глава 1

<i>Введение редакторов-составителей: некоторые понятия и темы в лингвистической теории</i>	12
1. Изучение языка в биологическом контексте ..	12
2. Универсальная грамматика и конкретные грамматики	17
3. Дескриптивная адекватность и объяснительная адекватность	24
4. Принципы и параметры универсальной грамматики	26
5. Параметрические модели и языковое единство	34
5.1. Явное vs. неявное передвижение	34
5.2. Наречия и функциональные ядерные элементы	39
5.3. Аргументы и функциональные ядерные элементы	44
5.4. Левая периферия, группа детерминатора и другие продолжения	46
6. Минималистская программа	52

6.1. К истории вопроса	52
6.2. Репрезентационная и деривационная экономия	55
6.3. Неинтерпретируемые признаки	59
6.4. Локальность	64
6.5. Теория копирования следов	67
Глава 2	
<i>Воззрения на язык и разум</i>	72
Глава 3	
<i>Язык и мозг</i>	94
Глава 4	
<i>Интервью Ноама Хомского о минимализме</i>	136
1. Корни Минималистской программы	136
2. Совершенство и несовершенства	154
3. Объяснительная адекватность и объяснение в лингвистике	188
4. Минималистские вопросы и другие области науки	199
5. Размах и перспективы	219
Глава 5	
<i>Секулярное священство и опасности, которые таит демократия</i>	234
Примечания	
Литература к главам 1–4	274

Предисловие



Весь ноябрь 1999 г. Ноам Хомский, по приглашению Университета Сиены, провел в Чертоза ди Понтиньяно, монастыре XIV в., где ныне размещаются исследовательские корпуса университета. Это был чрезвычайно бурный и увлекательный месяц, в течение которого преподаватели и студенты Университета Сиены имели уникальную возможность тесно соприкоснуться с различными аспектами работы Хомского, подискутировать с ним о науке и политике, отточить свои идеи и замыслы, поделиться ими с другими и вообще всячески взаимодействовать с Хомским. Тексты, собранные в этом томе, связаны с мероприятиями, приуроченными к его визиту.

Первая глава представляет собой введение отдельных базовых понятий лингвистической теории и описание некоторых фрагментов истории данной области знания, значимых для понимания ряда теоретических вопросов, рассматриваемых в последующих главах.

Вторая глава привязана к конкретному случаю. Пребывание Хомского в Сиене было организовано двадцать лет спустя после его визита в пизанскую Scuola Normale Superiore — события, которое благодаря памятным Пизанским лекциям оставило глубокий отпечаток в истории теоретической лингвистики.

В связи с этой годовщиной 27 октября 1999 г. Хомский получил «Perfezionamento honoris causa», почетную степень, присуждаемую Scuola Normale Superiore. На церемонии присуждения этой степени он прочитал Галилеевскую лекцию «Воззрения на язык и разум», в которой корни центральных идей сегодняшней научной лингвистики и современных когнитивных наук прослеживаются в классической мысли, начиная со знаменитой похвалы Галилео Галилея по поводу «чудесного изобретения» – алфавитного письма, позволяющего нам общаться с другими людьми, даже если они очень далеки от нас в пространстве или во времени. Галилеевская лекция публикуется здесь как глава вторая.

В фокусе третьей главы находятся отношения между изучением языка и науками о мозге, а особенно она обращена к перспективам интеграции и объединения абстрактных вычислительных моделей, выработанных в когнитивных науках, с изучением физического субстрата языка и познания в мозге. Предварительная версия этого текста была прочитана Хомским как пленарная лекция на заседании Европейской конференции по когнитивной науке (Санта Мария делла Скала, Сиена, 30 октября 1999 г.); те же проблемы не остались без внимания и в нацеленной на более широкую аудиторию публичной лекции «Язык и остальной мир» (Университет Сиены, 16 ноября 1999 г.).

В главе четвертой, в форме интервью, представлено обсуждение исторических корней, понятий и всевозможных следствий Минималистской программы – подхода к языку, который оформился в течение 1990-х гг. в результате импульса, данного идеями Хом-

ского, и занимает все более заметное место в теоретической лингвистике.

Хомский прочел еще одну публичную лекцию, озаглавленную «Секулярное священство и опасности, которые таит демократия» (Университет Сиены, 18 ноября 1999 г.). Эта лекция касалась другого важного предмета его интересов и деятельности: ответственности средств массовой информации и других интеллектуальных организаций в современном обществе. Соответствующий текст публикуется здесь как глава пятая. Та же тема затрагивалась Хомским в других докладах и семинарах, особенно в связи с его недавно вышедшим трудом «Новый военный гуманизм».

В ходе своего пребывания в Сиене Хомский также провел ряд неформальных семинаров по последним разработкам технического аппарата Минималистской программы и сделал доклад на эту тему на практических занятиях, связанных с исследовательской программой «Структурной картографии синтаксических конфигураций и семантических типов» (Чертоза ди Понтиньяно, 25–27 ноября 1999 г.).

Общим знаменателем, объединяющим первые четыре главы этой книги, является идея изучать язык как природный объект — как когнитивную способность, входящую в биологическое наследие нашего вида, физически представленную в человеческом мозге и доступную для изучения в пределах компетенции естественных наук. В этой перспективе, введенной ранними работами Хомского и затем развивавшейся растущим научным сообществом, теоретическая лингвистика внесла важнейший вклад в так называемую когнитивную революцию, придав ей первоначальный импульс и затем внося существенный вклад в ее фор-

мирование во второй половине XX в. Развивая этот подход на основе примерно сорока лет научного поиска по языковой проблематике, Минималистская программа отныне помещает в центр исследований замечательное качество устройства языка: изящество и экономию в осуществлении им основополагающей задачи соединения звуков и смыслов на неограниченной области. Немалая часть интервью, представленного в четвертой главе, посвящена разъяснению именно этого аспекта текущих исследований и осмыслинию аналогий с иными изящными системами, открытыми путем научного поиска в других областях естественного мира.

Вторая и третья главы этой книги доступны непосредственно для неспециалистов. Четвертая глава, хотя, в сущности, и не носит специального характера, все же ссылается на отдельные понятия современной теоретической лингвистики и некоторые аспекты недавней истории этой области знания. Цель вводной главы – дать некоторый теоретический и исторический фон для последующего обсуждения минимализма.

Материалы, собранные в этом томе, были опубликованы на итальянском и английском языках под названием «*Su natura e linguaggio*» («О природе и языке») в качестве первого тома *Lezioni Senesi*, *Edizioni dell'Università di Siena*, в апреле 2001 г. Настоящий том отличается от этого сиенского тома тем, что в нем существенно обогащена вводная глава и добавлена Галилеевская лекция Хомского (с разрешения пизанской *Scuola Normale Superiore*).

Двадцатилетие Пизанских семинаров предоставило неплохой случай для новой поездки в Тоскану,

Предисловие

но если какая-то часть того времени, что Хомский провел в Сиене, и была посвящена празднованию событий прошлого, то лишь очень небольшая. Большая же часть времени и все самые лучшие силы в тот бурный, незабываемый месяц были отданы на осмысление и обсуждение новых идей и новых направлений для будущих исследований языка. Мы надеемся, что собранные здесь тексты и материалы передают не только содержание, но и тот интеллектуальный дух и увлеченность, которыми были проникнуты дискуссии между Понтиньяно и Виа Рома.

*Адриана Беллетти
Луджи Рицци*

ГЛАВА 1



Введение редакторов-составителей: некоторые понятия и темы в лингвистической теории



1. Изучение языка в биологическом контексте

В центре внимания парадигм, доминировавших в лингвистике первой половины XX в., находился сассюровский «язык» (*Langue*), социальный объект, владение которым у индивидуальных носителей лишь частичное. С 1950-х гг. порождающая грамматика сместила фокус лингвистических исследований на системы языкового знания, которыми обладают индивидуальные носители, а также на «языковую способность», видоспецифичную способность овладеть и пользоваться некоторым естественным языком (*Chomsky* 1959). В этой перспективе язык представляет собой естественный объект, компонент человеческого разума, физически представленный в мозге и входящий в биологическое наследие вида. При таком разграничении предмета своего ведения лингвистика оказывается частью индивидуальной психологии и когнитивных наук; конечная ее цель – дать характеристи-

ку центральному компоненту человеческой природы, определяемому в биологическом контексте.

Идея сосредоточить основное внимание на языковой способности не была новой; корнями она уходит в классическую рационалистскую идею о том, что изучать язык – значит проникнуть в «зеркало разума», область, сулящую привилегированный доступ к изучению человеческого познания. Для того чтобы акцентировать внимание на такого рода корнях, Хомский называет смену перспективы в 1950-х гг. «второй когнитивной революцией», тем самым отдавая дань революционным идеям о языке и разуме в философии XVII – начала XIX вв., в особенности ссылаясь на картезианскую традицию*. Новым во «второй когнитивной революции» явилось то, что во второй половине XX в. язык впервые стал изучаться с помощью формальных моделей, способных уловить определенные фундаментальные факты, касающиеся человеческого языка.

Одним таким в высокой степени базовым фактом языка является то, что носители языка постоянно сталкиваются с выражениями, которых они никогда не встречали в прежнем своем языковом опыте, и тем не менее оказываются в состоянии производить и понимать эти новые выражения без усилий. В самом деле, нормальные языковые способности распространяются на неограниченную область: каждый носитель может произвести и понять неограниченное число языковых выражений при нормальном употреблении языка. Эта замечательная способность, которая

* См.: Хомский Н. Картезианская лингвистика. М.: КомКнига, 2005. – Прим. ред.

иногда называется критически значимым компонентом «кreatивности» обыденного использования языка, известна, по меньшей мере, со времени первой когнитивной революции и считается принципиально важной составляющей человеческой природы. Тем не менее, в фундаментальных отношениях она осталась без объяснения в классических рассуждениях о языке. Так, в «Курсе» Фердинанда де Соссюра мы находим примечательные колебания по этому вопросу. С одной стороны, «Курс» прямо констатирует, что «la phrase, le type par excellence de syntagme... appartient à la parole, non à la langue» (р. 172) [типичным проявлением синтагмы является предложение, а оно принадлежит *речи*, а не языку]^{*}, и сразу после этого пассажа текст отсылает к определению *речи* как «un acte individuel de volonté et d'intelligence... [включающий в себя] les combinaisons par lesquelles le sujet parlant utilise le code de la langue en vue d'exprimer sa pensée personnelle...» (р. 31) «индивидуальный акт воли и разума... [включающий в себя] комбинации, в которых говорящий использует код языка для выражения своей мысли»^{**}. Свобода сочетания элементов, которой характеризуется предложение, — «le propre de la parole». С другой стороны, «il faut attribuer à la langue, non à la parole, tous les types de syntagmes construits sur des formes régulières... des groupes de mots construits sur des patrons réguliers, des combinaisons [которые]

* Цит. по рус. пер.: Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики // Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1977. С. 156 (курсив авторов введения). См. также: Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики. М.: УРСС, 2004. — Прим. ред.

** Там же. С. 52. — Прим. ред.

répondent à des types généraux» (p. 173) [к языку, а не к *речи* надо отнести все типы синтагм, которые построены по определенным правилам]^{*}. Таким образом, вывод «Курса» как будто такой, что синтаксис лежит на полпути между языком и речью: «Mais il faut reconnaître que dans le domaine du syntagme il n'y a pas de limite tranchée entre le fait de langue, marqué de l'usage collectif, et le fait de parole, qui dépend de la liberté individuelle» (p. 173) [Но надо признать, что в области синтагм нет резкой границы между фактом языка, запечатленным коллективным обычаем, и фактом *речи*, зависящим от индивидуальной свободы]^{**}. Источник колебаний ясен: с одной стороны, регулярный характер синтаксиса очевиден; с другой стороны, лингвист-теоретик в начале XX в. еще не имеет в своем распоряжении точного приема для выражения удивительного разнообразия «правил построения», которое допускает синтаксис естественного языка. Обсуждение этого момента мы находим также в (Graffi 1991, 212–213).

Ранняя порождающая грамматика внесла важнейший формальный вклад, показав, что регулярность и неограниченность синтаксиса естественного языка могут быть выражены точными грамматическими моделями, наделенными рекурсивными процедурами. Знание языка равнозначно владению рекурсивной порождающей процедурой. Когда мы говорим, мы свободно выбираем порожденную нашей рекурсивной процедурой структуру, которая согласуется с наши-

* Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики // Соссюр Ф. де. Труды по языкоznанию. С. 157. См. также: Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики. М.: УРСС, 2004. – Прим. ред.

** Там же. – Прим. ред.

ми коммуникативными интенциями; конкретный выбор в конкретной ситуации дискурса – это и есть свободный акт *речи* в соссюровском смысле, однако исходная процедура, задающая возможные «модели построения», подчинена строгим правилам. За последние пятьдесят лет формальная характеристизация рекурсивного свойства синтаксиса естественного языка проделала значительный путь эволюционных изменений: от гипотезы о том, что «генерализованные трансформации» образуют сложные конструкции шаг за шагом, начиная от глубинных структур простейших предложений (*Chomsky* 1957), к рекурсивным системам структур непосредственных составляющих (*Katz and Postal* 1964; *Chomsky* 1965), способным производить глубинные структуры неограниченной длины, к рекурсивной X-штрих-теории (*Chomsky* 1970; *Jackendoff* 1977) и, наконец, к минималистской идеи, что базовая синтаксическая операция, *merge* ‘сцепить’, ‘объединить’, рекурсивным путем нанизывает элементы попарно, каждый раз образуя третий элемент, являющийся проекцией одной из двух составляющих (*Chomsky* 1995 а, 2000 а). Тем не менее, фундаментальный интуитивный тезис остается неизменным: естественные языки включают в себя рекурсивные порождающие процедуры.

Новые модели, выстроенные на основе этого прозрения, вскоре позволили осуществить анализ нетриадальной дедуктивной глубины, который, благодаря степени своей формальной эксплицитности, мог делать точные предсказания и потому мог быть подвергнут различного рода эмпирическим испытаниям. Дедуктивная глубина моделей и экспериментальные проверки их основательности – все это входит в число

основных ингредиентов того, что называется «галилеевским стилем», — стиля научного поиска, который укоренился в естественных науках со временем Галилео Галилея (далее обсуждение этого понятия см. в гл. 2 и 4). Демонстрация того факта, что языковая способность тоже поддается изучению в рамках правил, задаваемых галилеевским стилем, составляет, поэтому, самое существо второй когнитивной революции в изучении языка. Введенный в работах Хомского 1950-х гг., этот подход с тех пор оказывает глубокое и всестороннее влияние на изучение языка и мышления, внося фундаментальный вклад в подъем современной когнитивной науки (помимо указанной литературы и многих других публикаций, см. докторскую диссертацию Хомского (*Chomsky* 1955, опубликована в 1975 г.; *Chomsky* 1957) и различные очерки в (*Fodor and Katz* 1964)).

2. Универсальная грамматика и конкретные грамматики

Современное изучение языка как зеркала мышления вращается вокруг нескольких базовых исследовательских вопросов, наиболее заметными из которых оказались два:

- Что такое знание языка?
- Как оно приобретается?

Первый вопрос оказался решающим для того, чтобы программа заработала. Первые фрагменты порождающей грамматики в 1950-е и 1960-е гг. показали, что, с одной стороны, имплицитное знание языка поддается точному изучению посредством моделей, корни которых уходят в теорию формальных систем,

прежде всего, в теорию рекурсивных функций; с другой стороны, они сразу же подчеркнули тот факт, что интуитивное языковое знание, которым обладает каждый носитель языка и которым он или она руководствуется в своем языковом поведении, есть система чрезвычайно сложная и богатая. Каждый носитель языка имплицитно овладевает очень детальной и точной системой формальных процедур составления и интерпретации языковых выражений. Эта система постоянно применяется, автоматически и бессознательно, чтобы производить и понимать новые предложения, что является нормальной характеристикой обыденного использования языка.

Открытие богатства имплицитного знания языка немедленно подняло вопрос о том, как оно приобретается. Как это может быть, чтобы каждый ребенок сумел приобрести такую богатую систему в столь раннем возрасте, по-видимому непреднамеренно и безо всякой необходимости явного обучения? Что более важно, точное изучение фрагментов взрослого знания языка быстро подчеркнуло существование ситуаций «бедности стимула»: взрослое знание языка во многом недостаточно детерминируется языковыми данными, обычно доступными ребенку, которые бы сообразовались с неисчислимыми обобщениями, идущими много дальше тех, на которых безошибочно сходятся носители языка. Для иллюстрации этого момента рассмотрим простой пример. Носители английского языка интуитивно знают, что местоимение *he* ‘он’ можно понять как относящееся к Джону в (1), но не в (2):

(1)

John said that he was happy
‘Джон сказал, что он счастлив’.

(2)

**He said that John was happy*

‘Он сказал, что Джон счастлив’.

Мы говорим, что «кореферентность» между именем и местоимением возможна в (1), но не в (2) (звездочка в (2) сигнализирует невозможность кореферентности между подчеркнутыми элементами; предложение очевидным образом возможно, если *he* относится к какому-то другому лицу, упомянутому в предшествующем дискурсном контексте). Дело не в простом линейном предшествовании: существует неограниченное количество английских предложений, в которых местоимение предшествует имени, и где все же кореферентность возможна — свойство, иллюстрирующее субъектные, объектные и посессивные местоимения в следующих предложениях:

(3)

When he plays with his children, John is happy

‘Когда он играет со своими детьми, Джон счастлив’.

(4)

The people who saw him playing with his children said that John

was happy

‘Люди, которые видели его играющим со своими детьми, сказали, что Джон был счастлив’.

(5)

His mother said that John was happy

‘Его мать сказала, что Джон счастлив’.

Такое обобщение требует изощренного структурного исчисления. Скажем, что «область действия» элемента A — это та фраза, которая непосредственно содержит A (мы говорим также, что A осуществляет с-командование элементами в своей области действия

(Reinhart 1976)). Теперь обозначим область действия местоимения парой скобок в (1)–(5):

(6)

John said that [he was happy]
‘Джон сказал, что [он счастлив]’.

(7)

* [*He said that John was happy*]
‘[Он сказал], что Джон счастлив’.

(8)

When [he plays with his children], John is happy
‘Когда [он играет со своими детьми], Джон счастлив’.

(9)

The people who saw [him playing with his children] said that John was happy

‘Люди, которые видели [его играющим со своими детьми], сказали, что Джон был счастлив’.

(10)

[*His mother*] said that *John* was happy
‘[Его мать] сказала, что Джон счастлив’.

Теперь формальное свойство, выделяющее (7), ясно: только в этой структуре имя содержится внутри области действия местоимения (это «принцип не-кореферентности Ласника» (Lasnik 1976)). Носители английского языка подспудно владеют этим принципом и автоматически применяют его к новым предложениям для оценки интерпретации местоимений. Но как они узнают, что этот принцип действует? Ясно, что соответствующая информация не выдается воспитателями ребенка эксплицитно, ведь они совершенно не подозревают о его существовании. Почему бы носителям языка не сделать простейшее предположение, а именно что кореферентность факультативна везде?

Или же почему бы им не предположить, что кореферентность управляет простым линейным принципом, а не иерархическим принципом со ссылкой на понятие области действия? Почему все носители языка безошибочно сходятся на том, чтобы постулировать структурный принцип, а не более простой линейный принцип или вовсе отсутствие какого-либо принципа?

Мы привели одну иллюстрацию определенной ситуации, которая постоянно наблюдается в усвоении языка. Поскольку опыт слишком скучен, чтобы мотивировать грамматическое знание, которым неизменно обладают взрослые носители языка, нам приходится допустить, что конкретные элементы грамматического знания развиваются в результате какого-то давления внутри когнитивной системы ребенка. Естественная гипотеза такова, что дети рождаются с «языковой способностью» (Соссюр), «инстинктивной склонностью» к языку (Дарвин); эта когнитивная способность должна включать в себя, в первую очередь, ресурсы восприимчивости для отделения языковых сигналов от фонового шума, а затем — для построения на основе прочих внутренних ресурсов, активированных ограниченным и фрагментарным языковым опытом, — богатой системы языкового знания, которым обладает любой носитель языка. В обсуждавшемся случае было бы логично постулировать врожденную процедуру, определяющую возможности кореферентности, очевидно выводимую из общего модуля, детерминирующего возможности референтных зависимостей между выражениями, как в «теории связывания» Хомского (*Chomsky 1981*), или же из еще более общих принципов, относящихся к стыку между син-

таксисом и прагматикой, — этот подход избран в работе (*Reinhart 1983*). В действительности, такие факты даже не сообщаются в нормативных, учебных грамматиках и в дескриптивных грамматиках, не основанных на теории. Негласно и интуитивно считается, что эти факты действуют не только в родном языке, но и при усвоении второго языка в зрелом возрасте. Таким образом, глубинный принцип, какова бы ни была его конечная природа, представляется частью внутреннего багажа каждого носителя языка.

Теперь мы можем сформулировать проблему в терминологии, которая используется в современных исследованиях языка и мышления. Усвоение языка можно рассматривать как переход от состояния мышления при рождении, от начального когнитивного состояния, к тому стабильному состоянию, которое соответствует знанию родного естественного языка. Соображения бедности стимула поддерживают точку зрения, согласно которой начальное когнитивное состояние — отнюдь не *tabula rasa* эмпиристских моделей, но уже богато структурированная система. Теория начального когнитивного состояния называется универсальной грамматикой (УГ); теория конкретного стабильного состояния называется конкретной грамматикой. Обретение подспудного знания французского, итальянского, китайского и прочих языков, таким образом, оказывается возможным благодаря компоненту разума-мозга, который в эксплицитной форме моделируется универсальной грамматикой во взаимодействии с конкретным ходом языкового опыта. В терминах компаративной лингвистики универсальная грамматика — это теория языковых инвариантов, поскольку она выражает универсальные

свойства естественных языков; в терминах принятой когнитивной перспективы универсальная грамматика выражает биологически необходимые универсалии, свойства, носящие универсальный характер в силу того, что они определяются нашей врожденной языковой способностью, компонентом биологического наследия вида.

Как только грамматическое свойство приписывается универсальной грамматике на основании соображений бедности стимула, а такую гипотезу можно законным образом сформулировать на основании изучения одного языка, сразу же напрашивается сравнительная верификация: мы хотим знать, действительно ли соответствующее свойство присутствует повсеместно. В случае, обсуждавшемся выше, мы ожидаем, что никакой человеческий язык не будет допускать кореферентности в конфигурации, подобной (2) (модульный порядок слов и иные присущие языку свойства) – насколько нам известно, этот вывод верен (*Lasnik* 1989; *Rizzi* 1997а и указанная там литература). Так углубленное исследование отдельных языков приводит непосредственно к сравнительным исследованиям через логическую проблему усвоения языка и понятие универсальной грамматики. Этот подход предполагает, что биологические ресурсы языка неизменны по всему нашему виду: мы предрасположены не к тому, чтобы усвоить язык наших биологических родителей, но к тому, чтобы усвоить тот человеческий язык, который нам представится в детстве. Конечно же, это не априорная истинна, но эмпирическая гипотеза, которая находит подтверждение в объяснительном успехе современной компаративной лингвистики.

3. Дескриптивная адекватность и объяснительная адекватность

Говорят, что усвоение языка составляет «фундаментальную эмпиристскую проблему» современных лингвистических исследований. Дабы подчеркнуть важность этой проблемы, Хомский в 1960-е гг. ввел техническое понятие объяснения, подогнанного под усвоение языка (обсуждение см. в (*Chomsky* 1964, 1965)). Принято считать, что анализ отвечает требованию «описательной адекватности» в том случае, если он корректно описывает лингвистические факты, подспудно известные взрослым носителям языка; если он при этом объясняет процесс овладения этими знаниями, то считается, что он отвечает более высокому требованию «объяснительной адекватности». Описательная адекватность может достигаться фрагментом конкретной грамматики, который успешно моделирует фрагмент взрослого языкового знания; объяснительная адекватность достигается тогда, когда можно показать, что описательно адекватный фрагмент конкретной грамматики выводится из двух ингредиентов: универсальной грамматики с ее внутренней структурой, аналитическими принципами и т. п. и определенного опыта, языковых фактов, которые обычно доступны ребенку, постигающему язык в период его усвоения. Это так называемые «первичные языковые данные», ограниченное и индивидуально варьирующее множество высказываний, свойства и структурное богатство которых можно оценить путем корпусных исследований. Если можно показать, что корректная грамматика выводится из УГ и выборки данных, которые логично принять как доступные ребен-

ку, то процесс усвоения языка получает объяснение. Возвращаясь к нашему конкретному примеру с кореферентностью, описательная адекватность была бы достигнута гипотезой, корректно улавливающей интуитивные суждения носителя языка по поводу (1)–(5), скажем, гипотезой, ссылающейся на иерархический, а не линейный принцип. Объяснительная же адекватность достигалась бы гипотезой, выводящей корректное описание фактов из общих врожденных законов, скажем, из «принципов связывания» Хомского или «принципов интерфейса синтаксиса и прагматики» Рейнхарта.

В 1960–1970-е гг. между потребностями описательной и объяснительной адекватности возникло определенное напряжение, поскольку эти две цели толкали исследования в противоположных направлениях. С одной стороны, потребности описательной адекватности, казалось, требовали постоянного обогащения аппарата описания: со все возрастающим расширением эмпирической базы открытие новых явлений в естественных языках, разумеется, побуждало исследователей постулировать новый аналитический инструментарий для обеспечения адекватных описаний. К примеру, когда исследовательская программа впервые была распространена на романские языки, попытки проанализировать определенные глагольные конструкции привели к постулированию новых формальных правил (трансформации образования каузатива и более радикальные формальные приемы, такие как переразложение, вторичный анализ (*reanalysis*), объединение простых предложений (*clause union*) и т. д. (*Kayne 1975; Rizzi 1976; Aissen and Perlmutter 1976*)), что, как представлялось, требовало расширения ин-

вентаря правил, допускаемых универсальной грамматикой. Аналогичным и еще более радикальным образом первые попытки анализа языков с более свободным порядком слов привели к постулированию иных принципов фразовой организации, как во многих работах по так называемым «неконфигурационным» языкам Кена Хэйла, его сотрудников и многих других исследователей (*Hale 1978*). С другой стороны, сама природа объяснительной адекватности, как она формально определялась, требует максимально жестких ограничений и постулирования сильного межъязыкового единства: в тех эмпирически установленных условиях времени и доступа к данным, которыми располагает ребенок, задача усвоения языка будет выполнимой лишь в том случае, если универсальная грамматика предлагает относительно немного вариантов анализа для любой совокупности данных. С самого начала было ясно, что только ограничительный подход к универсальной грамматике позволит реально достигнуть объяснительной адекватности (о статусе объяснительной адекватности в рамках Минималистской программы см. гл. 4 и *Chomsky 2001 b*).

4. Принципы и параметры универсальной грамматики

Подход, сумевший разрешить это напряжение, возник в конце 1970-х гг. Он основывался на идеи о том, что универсальная грамматика представляет собой систему принципов и параметров. В полной мере этот подход впервые раскрылся на неформальных семинарах, которые Хомский провел в пизанской Scuola

Normale Superiore во время весеннего семестра 1979 г. Из этих семинаров выросла серия лекций, представленных сразу после конференции Организации лингвистов-генеративистов Старого Света (Generative Linguists of the Old World – GLOW) в апреле 1979 г. и известных как Пизанские лекции. Сам подход был затем отточен в курсе Хомского осенью 1979 г. в Массачусетском технологическом институте и далее изложен в исчерпывающем виде в монографии (*Chomsky 1981*).

Предыдущие версии порождающей грамматики принимали унаследованный из традиционных грамматических описаний взгляд о том, что конкретные грамматики суть системы свойственных конкретному языку (далее – лингвоспецифичных) правил. В рамках этого подхода есть правила формирования непосредственных составляющих и трансформационные правила, специфичные для каждого конкретного языка (в итальянском и японском языках различны правила формирования структуры непосредственных составляющих глагольной фразы VP, в английском и французском языках различаются трансформационные правила образования каузатива и т. п.). Считалось, что универсальная грамматика функционирует как своего рода грамматическая метатеория, задающая общий формат, которого должны придерживаться конкретные системы правил, а также накладывающая общие ограничения на применение правил. Изучающему язык отводилась роль индуктивного построения конкретной системы правил на основе опыта и в пределах и в направлении, очерченных УГ. Как именно этот процесс индукции мог функционировать, оставалось, впрочем, во многом тайной.

Лет двадцать назад перспектива претерпела радикальные изменения. Во второй половине 1970-х гг. ряд конкретных вопросов компаративного синтаксиса подвигли исследователей выступить с заявлением о том, что некоторые принципы УГ поддаются параметризации и, стало быть, функционируют в разных языках немного по-разному. Первым конкретным случаем, изучавшимся в этих терминах, был тот факт, что определенные островные ограничения в одних разновидностях языка представляются более свободными, чем в других: так, извлечение относительного местоимения из косвенного вопроса звучит вполне естественно в итальянском языке (*Rizzi 1978*) и куда менее естественно в других языках и диалектах: в немецком это исключается, а в различных вариантах английского это явление представлено в разной степени маргинально (обсуждение последнего случая см. (*Grimshaw 1986*), о французском языке см. (*Sportliche 1981*)):

(11)

Ecco un incarico [s' che [s non so proprio [s' a chi [s potremmo affidare —]]]]]

'Here is a task that I really don't know to whom we could entrust'.

'Вот задание, которое я не знаю, кому мы можем поручить'.

(12)

**Das ist eine Aufgabe, [s' die [s ich wirklich nicht weiss [s' wem [s wir — anvertrauen könnten]]]]]*

'Here is a task that I really don't know to whom we could entrust'.

'Вот задание, которое я не знаю, кому мы могли бы поручить'.

Нельзя сказать, что итальянский язык позволяет извлечение неограниченным образом: так, если извлечение осуществляется из косвенного вопроса, который, в свою очередь, сам вложен в косвенный вопрос, то допустимость этой операции сильно снижается:

(13)

*Ecco un incarico [_{S'} *che* [_S *non so proprio* [_{S'} *a chi*
[_S *si domandino* [_{S'} *se* [_S *potremmo affidare* —]]]]]]]]

'Here is a task that I really don't know to whom they wonder
if we could entrust'.

'Вот задание, которое я не знаю, кому они теряются
в догадках, могли бы ли мы поручить'.

Было сделано предположение, что конкретные языки, возможно, немного различаются в выборе категории уровня простого предложения, которая считается ограничивающим узлом, или барьером для передвижения. Предположим, что релевантный принцип, принцип прилегания, допускает пересечение максимум одного барьера при передвижении; тогда, если данный язык избирает барьером предложения S', то передвижение данного типа будет возможно, но можно будет пересечь лишь самый нижний S'; если язык избирает в качестве барьера S, то при передвижении будут пересекаться два барьера, что приведет к нарушению условия прилегания. Даже если язык избирает S', передвижение из вложенного относительно го предложения-острова будет заблокировано, откуда и возникает контраст между (11) и (13) (если бы язык избирал в качестве ограничивающего узла и S, и S', то, как было отмечено, даже из повествовательного предложения движение было бы закрыто, что, по-видимому, имеет место в некоторых вариантах немецкого языка и в русском: см. обсуждение в (*Freidin 1988*)).

В ретроспективе видно, что этот первый случай был далеко не идеальным примером параметра: налицо множество тонкостей, сложностей и варьирования по идиолектам и вариантам языка. Тем не менее, важно то, что этот пример быстро помог увидеть, что понятие параметра можно распространить на другие, более заметные случаи синтаксического разнообразия и что в действительности в этих терминах можно трактовать все межъязыковое разнообразие в синтаксисе, тем самым полностью избавившись от понятия системы лингвоспецифичных правил. Конкретные грамматики можно осмысливать как непосредственные реализации универсальной грамматики при определенном наборе значений параметров (см. (*Chomsky* 1981) и, помимо многих других публикаций, различные работы в (*Kayne* 1984, 2001; *Rizzi* 1982, 2000)).

При этом новом подходе универсальная грамматика — это уже не просто грамматическая метатеория, она становится неотъемлемой составной частью конкретных грамматик. В частности, УГ — это система универсальных принципов, некоторые из которых содержат параметры, точки выбора, которые можно фиксировать на одной из ограниченного числа позиций. Конкретная грамматика, таким образом, сразу же выводится из УГ путем установки параметров определенным образом: итальянский, французский, китайский и т. д. — это непосредственные выражения УГ при определенных, и различных, наборах значений параметров. Никаких систем лингвоспецифичных правил не постулируется: структуры непосредственно исчисляются принципами УГ при выборе конкретных значений параметров. Одновременно ничего не остается от идеи правила, специфичного для

определенной структуры. Для примера возьмем пассив, в каком-то смысле прототипический случай конструкционно-специфичного правила. Пассивная конструкция разлагается на более элементарные операции, каждая из которых встречается и в других контекстах. С одной стороны, пассивная морфология перехватывает присвоение внешней тематической роли (в примере, данном ниже, – агенса) позиции субъекта и факультативно перенаправляет эту тематическую роль словосочетанию с предлогом *by*, как в глубинном представлении (14 a); за счет детематизации субъекта этот процесс также препятствует приписыванию падежа объекту (путем так называемой генерализации Бурцио, см. (Burzio 1986)); затем оставшийся без падежа объект передвигается в позицию субъекта, как в (14 b) (о падежной теории и релевантности падежа для передвижения параметров-контролеров см. ниже):

(14)

- a. ____ *was washed the car (by Bill)*
- b. *The car was washed ____ (by Bill)*
‘Машину была вымыта (Биллом)’.

Ни один из этих процессов не является спецификой пассива. Перехват внешней тематической роли и факультативное ее направление в словосочетание с предлогом *by* также встречается, к примеру, в одной из каузативных конструкций в романских языках (где падеж приписывается объекту сложным предикатом *faire + V* в (15)). Передвижение объекта в не-тематическую позицию субъекта также встречается у неакузативных глаголов, лексическим свойством которых является то, что они не приписывают тематической роли субъекту; в некоторых романских и германских

языках они морфологически маркированы выбором глагола *быть* в качестве вспомогательного глагола, как в примере (16) из французского языка (*Perlmutter 1978; Burzio 1986*):

(15)

Jean a fait laver la voiture (par Pierre)

букв. ‘Жан сделал (так, чтобы) вымыть машину (силами Пьера)’.

(16)

Jean est parti —

‘Жан ушел’.

Таким образом, «пассивная конструкция» разлагается на более простые составляющие: элемент морфологии, операция на тематических решетках, передвижение. Эти элементарные составляющие обладают определенной степенью модульной автономии и могут по-разному группироваться, образуя новые сочетания, порождая другие конструкции при лингвоспецифичных значениях параметров.

Принципиально важным вкладом параметрических моделей стало то, что они дали совершенно новое видение усвоения языка. В терминах этих моделей усвоить язык – значит установить параметры УГ на основании опыта. Ребенок интерпретирует входящие языковые данные с помощью аналитических средств, предоставляемых универсальной грамматикой, и на основе проанализированных данных, своего языкового опыта фиксирует параметры системы. Усвоить язык – означает выбрать среди возможностей, порождаемых разумом, те из них, которые отбираются опытом, и отбросить другие. Таким образом, усвоить элемент языкового знания – значит отбросить все другие возможности, а priori предлагаемые

разумом. Учение достигается «забыванием» — постулат, принятый Мелером и Дюпу (*Mehler, Dupoux* 1992) в связи с вопросом об усвоении фонологических систем: усвоение фонетических различий, употребительных в данном языке, сводится к забыванию других различий из инвентаря, а *priori* доступного разуму ребенка. Так, при рождении каждый ребенок чувствителен к различию между /l/ и /г/ или между /t/ и /т./ (дентальный vs. ретрофлексный), однако через несколько месяцев ребенок, изучающий японский язык, «забывает» различие /l/ vs. /г/, а ребенок, осваивающий английский язык, «забывает» различие /t/ vs. /т./ и пр., потому что они оставляют в силе различия, которые использует тот язык, действию которого они подвергаются, а все остальные различия отбрасывают. При параметрическом рассмотрении «изучение путем забывания» представляется уместным и для усвоения синтаксического знания.

Подход принципов и параметров предложил новую трактовку логической проблемы усвоения языка в терминах, которые абстрагируются от действительного времененного протекания процесса усвоения (см. (*Lightfoot* 1989) и обсуждаемую там литературу). Но этот же подход породил всплеск работ, посвященных развитию языка: как именно осуществляется ребенком установка параметров в конкретном течении времени? Может ли установка параметров обусловить наблюдаемые закономерности в развитии языковой способности, например при переустановке некоторых параметров в результате достаточного опыта или под влиянием взросления? Подход Хайэмса (*Hymes* 1986) к опущению подлежащего в речи англоязычных детей открыл новое направление тео-

ретически обоснованного изучения развития языковой способности, которое в полной мере расцвело в последнее десятилетие (помимо многих других публикаций, см. обсуждение в (*Friedemann and Rizzi 2000; Rizzi 2000; Wexler 1994, 1998*) и указанную там литературу; о связи между усвоением языка, языковыми изменениями и креолизацией в терминах параметрического подхода см. (*Degraff 1999*)).

5. Параметрические модели и языковое единообразие

Выработка параметрических моделей стала возможной благодаря важному эмпирическому открытию: человеческие языки намного более единообразны, чем мыслилось прежде. Проиллюстрируем этот момент несколькими простыми примерами.

5.1. Явное vs. неявное передвижение

Для начала рассмотрим образование вопросов. При образовании вопросов к непосредственным составляющим человеческие языки в основном используют один из двух вариантов. Такие языки, как английский (итальянский, венгерский и пр.), передвигают вопросительное словосочетание (*who* ‘кто’ и пр.) вперед, в позицию на левой периферии предложения; в то же время китайский (японский, турецкий и пр.) оставляют вопросительное словосочетание *in situ*, в той позиции аргумента внутри предложения, в которой он получает интерпретацию (например, в (18) в качестве внутреннего аргумента глагола *love* ‘любить’):

(17)

Who did you meet ____?

‘Кого ты встретил?’

(18)

Ni xihuan shei? (кит.)

букв. ‘Ты любишь кого?’ *

Разговорный французский язык в основном предложении допускает оба варианта:

(19)

a. *Tu as vu qui?*

‘Ты видел кого?’

b. *Qui as-tu vu ____?*

‘Кого ты видел?’

Существование всего двух основных вариантов уже само по себе указывает на единство. Так, ни в одном известном языке вопрос не образуется путем передвижения вопросительного словосочетания в более низкую структурную позицию на синтаксическом дереве, скажем, из главного предложения в позицию дополнителя при вложенном предложении. Более того, есть веские основания полагать, что единство уходит глубже. На абстрактном уровне логической формы – ментального представления на стыке с системами мышления (о чем см. (May 1985; Hornstein 1984)) передвижение представляется необходимым всегда, в том числе также в китайском и разговорном французском, вследствие чего возникают структуры, в которых вопросительное словосочетание связывает переменную внутри предложения:

* Переводом этого китайского примера я обязан Роману Шапиро. – Прим. перев.

(20)

Для какого x верно, что ты встретил/увидел/любишь x ?

Важным эмпирическим свидетельством в пользу идеи о том, что передвижение неявным образом применимо к языковым системам данного типа, явилось наблюдение Хуанга (*Huang* 1982), что определенные ограничения на локальность (locality) сохраняют силу единообразно во всех языках. Так, нельзя извлечь вопросительное наречие из косвенного вопроса в вопросительном предложении английского типа. Это свойство связано с действием фундаментального принципа локальности, нарушения которого гораздо серьезнее и в большей степени неизменны по различным языкам, чем в случаях извлечения относительного местоимения, которые обсуждались в связи с (11) и (12):

(21)

**How do you wonder [who solved the problem__]?*
букв. ‘*Как ты гадаешь, кто решил проблему?’

Эквивалент (21) также твердо исключается, к примеру, и в итальянском языке, который, как мы видели, довольно свободно допускает извлечение аргументного материала из косвенных вопросов:

(22)

**Come ti domandi [chi ha risolto il problema__]?*
букв. ‘*Как ты теряешься в догадках, кто решил проблему?’

Ограничение, которое нарушается в (21) и (22), – это, согласно первоначальному подходу Хуанга, принцип пустых категорий (Empty Category Principle – ECP). Нарушения этого принципа более серьезны и менее подвержены межъязыковому варьированию, нежели нарушения условия прилегания: в двух словах, наречная wh-составляющая (вопросительное на-

речие) не может соединяться с вложенным предложением через другой wh-компонент. Помимо прочей литературы о различном поведении аргументов и адъюнктов при изъятии из этого окружения см. (*Lasnik and Saito 1992; Rizzi 1990, 2000, 2001 a, b; Cinque 1990; Starke 2001*), а также обсуждение локальности ниже.

Аналогично (21) и (22), Хуанг показал, что в языках китайского типа вопросительное наречие внутри косвенного вопроса не может интерпретироваться как элемент главного вопросительного предложения. Эта аналогия непосредственно демонстрируется на материале французского языка: начиная со структуры, подобной (23 a), вопрос в главном предложении, относящийся к вложенной наречной составляющей, исключается, независимо от того, передвигается это наречие или нет (NB эти суждения верны для нормального контура градаций ударения; если вопросительный компонент остается *in situ* и получает сильное ударение, то приемлемость улучшается: обсуждение значимости контура градаций ударения в таких случаях см. в (*Starke 2001*)):

(23)

- a. *Tu te demandes qui a résolu le problème de cette manière*
‘Ты задаешься вопросом, кто решил проблему таким образом’.
- b. **Comment te demandes-tu qui a résolu le problème*_____?
букв. ‘Как задаешься ты вопросом, кто решил проблему?’
- c. **Tu te demandes qui a résolu le problème comment?*
‘Ты задаешься вопросом, кто решил проблему, как?’

Всему этому немедленно находится объяснение, если принять, что носители китайского, разговорного

французского и прочих языков приписывают логические формы типа (20) вопросительным составляющим *in situ* путем неявного передвижения вопросительного словосочетания. Применяются те же принципы локальности, которые действуют в случаях, подобных (21) и (22), тем самым в равной мере блокируя как выраженное, так и «ментальное» передвижение. Таким образом, как выясняется, в абстрактных ментальных представлениях вопросы единообразно представлены в формате, сходном с (20); различается лишь то, имеет ли передвижение воспринимаемые на слух последствия, как в английском, или оно не проявлено, как в китайском и пр. Это различие можно выразить путем несложной параметризации (например, с помощью «системы признаков» Хомского (*Chomsky 1995 a*)). Единый принцип локальности, применимый к единообразным логическим формам, объясняет и неграмматичность явного извлечения в английском и итальянском, и отсутствие интерпретации вопросительного местоимения как принадлежащего главному предложению в китайском, а французский язык реализует оба варианта. Аналогичные аргументы в пользу неявного передвижения *wh*-составляющих могут строиться на основании единообразного поведения передвигаемых и остающихся на месте вопросительных составляющих в отношении возможности связывания местоимения (слабые эффекты «переезда»), что явилось бы распространением классического аргумента Хомского в пользу неявного передвижения (*Chomsky 1977, ch. I*). (См. также (*Pollock and Polletto 2001*), которые дают новую интерпретацию некоторым видимым случаям *in situ*, связанную с передвижением *wh*-компонента влево и последующим «остаточ-

ным передвижением» остальной части предложения в еще более высокую позицию, в терминах подхода Кейна (*Kayne 1994*); альтернативные подходы к неявному передвижению можно найти в (*Watanabe 1992; Reinhart 1995; Fox and Nissenbaum 1999*.)

Синтаксис вопросов выглядит довольно единообразным уже при поверхностном анализе, но другие аспекты языка, на первый взгляд, значительно варьируют в разных языках. Работы последних лет последовательно показывают, однако, что как только предметная область изучается в подробностях и с помощью надлежащего теоретического инструментария, значительная часть варьирования исчезает, и мы получаем остаток из нескольких элементарных параметров.

5.2. Наречия и функциональные ядерные элементы

Одним таким аспектом, в отношении которого языки демонстрируют значительное разнообразие, является положение обстоятельств. К примеру, некоторые низкоуровневые наречия во французском и других романских языках, как правило, вклиниваются между глаголом и прямым дополнением, в то время как в английском они появляются между субъектом и несущим словоизменительные признаки глагольным элементом:

(24)

Jean voit souvent Marie
‘Жан видит часто Мари’.

(25)

John often sees Mary
‘Джон часто видит Мэри’.

Изящный и перспективный подход к этой проблеме был подсказан опять-таки интуитивным чувством единобразия. Быть может, наречие в обоих языках занимает одну и ту же позицию? На это настойчиво указывает тот факт, что данный класс наречий занимает одну и ту же позицию относительно других классов наречий, так что порядок наречий во всех указанных языках фиксирован: перед ним должны стоять отрицательные наречия вроде *not*, после него должны следовать наречия типа *completely* ‘полностью’ и т. д. В этой постоянной структурной конфигурации может меняться положение глагола: если предложение содержит указание глагольного времени T в позиции между субъектом и предикатом VP, то в языках типа французского глагол передвигается к T через наречие (в результате чего возникает представление типа (26 b), выводимое из глубинной структуры (26 a)), в то время как в английском языке глагол остается в своей базовой позиции (Emonds 1978; Pollock 1989) либо совершает лишь минимальное передвижение к более низко расположенному функциональному ядерному элементу (Johnson 1991):

(26)

- a. *Jean voit + T [souvent voit Marie]*
- b. *Jean voit + T [souvent ____ Marie].*

(27)

John T [often sees Mary].

Если принять этот способ объяснения в простых случаях, он сразу же распространяется на более сложные модели. К примеру, нижеследующая парадигма показывает, что во французском языке глагол может занимать как минимум четыре различных позиции

в зависимости от того, имеет ли он показатели личных форм или нет, а также от иных свойств конструкции (три позиции, не занятые глаголом в данном примере, обозначаются X):

(28)

- a. X *ne* X *pas* X *complètement comprendre la théorie (c'est décevant)*

'X “*ne*” X не X полностью понять теорию (это досадно)'*.

- b. X *ne* X *pas comprendre complètement X la théorie (c'est décevant)*

- c. X *il ne comprend pas X complètement X la théorie*
'X он “*ne*” понимает не X полностью X теорию'.

- d. *Ne comprend-il X pas X complètement X la théorie?*
“*Ne*” понимает он X не X полностью X теорию?'

Под влиянием исследовательского течения, основанного теорией глагольного передвижения Жана-Ива Поллока (*Pollock 1989*), все эти случаи сводятся к единственной глубинной структуре, в которой полнозначный глагол помещается внутри VP и соседствует с выбираемым им прямым дополнением, как в (28 a). Сентенциальная структура мыслится как набор иерархически организованных функциональных ядерных элементов, позиции которых обозначены в (28) X-м. Этими ядерными элементами, возможно,

* Русский подстрочный перевод следует английскому подстрочному переводу оригинала, в котором французский приглагольный показатель отрицания *ne* не заменяется никаким формальным эквивалентом. Артикли, присутствующие в английском подстрочнике, не релевантны для разбираемых примеров и потому не отражены в русском переводе. — Прим. перев.

выражается время и другие свойства морфосинтаксиса предложений, такие как согласование с субъектом (следуя традиционной терминологии, ядерный элемент, с которым сличаются (*checked*) согласовательные признаки, обозначается AGR, однако этот элемент может выражать и иные релевантные для интерпретации свойства, такие как наклонение и пр., если «чисто» согласовательные ядерные элементы не допускаются, как в (*Chomsky 1995 a*)), а также повествовательная или вопросительная иллокутивная сила левопериферийного ядерного элемента-дополнителя С. Общий процесс передвижения от одного ядерного элемента к другому может или должен поднять глагол к более высокому ядерному элементу в зависимости от его морфологической формы и иных свойств структуры:

(29)

C *il ne + AGR pas* T *complètement comprend la théorie*
‘С он “не + AGR” не Т полностью понимает теорию’.

Таким образом, во французском языке глагол в нефинитной форме может оставаться в позиции ядерного элемента глагольной группы VP, как в (28 a), или же факультативно передвинуться к функциональному ядерному элементу, выражающему время и расположенному выше, чем определенные классы наречий типа *completely* ‘полностью’, но ниже, чем отрицание, как в (28 b). Финитный глагол должен подняться выше отрицания к ядерному элементу AGR для того, чтобы подобрать согласовательные морфологические признаки, как в (28 c) (мы здесь следуем порядку, который обосновывался в (*Bellotti 1990*)). В вопросительных предложениях восхождение глагола вверх продолжается до следующего по высоте

те ядерного элемента – дополнителя (С) для того, чтобы выполнить определенные специфичные для данной конструкции требования грамматичности, как в (28 d).

Разные языки различным образом пользуются механизмом передвижения ядерных элементов: некоторые, как английский, вообще никогда не поднимают полнозначный глагол из глагольной группы VP, другие, как итальянский, в большем числе случаев поднимают как финитные, так и нефинитные формы глагола к более высоко расположенным функциональным вершинам, третьи (например языки, в которых глагол занимает вторую позицию) систематически пользуются возможностью передвижения глагола к С и т. д. Модели в разных конструкциях и языках многочисленны и разнообразны, однако все они сводятся к крайне элементарным вычислительным механизмам и параметрам: структура непосредственных составляющих, состоящая из полнозначных и функциональных ядерных элементов и их проекций, передвижение от ядерного элемента к ядерному элементу (которое также покрывает различные типы инкорпорации, как в подходе Марка Бейкера (*Baker 1988*)) и некоторые параметризованные принципы, определяющие (частично лингвоспецифичные) морфосинтаксические условия, вызывающие передвижение ядерных элементов.

Большим шагом вперед в этом исследовательском течении явилась работа (*Cinque 1999*), которая содержит систематический анализ позиций обстоятельств, ведущий к строгой универсальной иерархии, соответствующей универсальной иерархии функциональных ядерных элементов, выражающих время, наклонение,

вид и залог. Результаты этого исследования также существенно подкрепляют представление о фундаментальном межъязыковом единстве в этой области, доходящем до уровня самого дробного анализа: языки различаются в морфологическом маркировании темпоральных, аспектуальных и модальных свойств глагола, но богатая структура предложения, выражающая эти свойства и выделяющая позиции обстоятельств, носит строго единообразный характер.

5.3. Аргументы и функциональные ядерные элементы

Приняв эту схему для объяснения многообразных и причудливых межъязыковых свойств, связанных с позициями обстоятельств по отношению к глаголам, естественно распространить ее на более заметные типы разнообразия, такие как порядок глаголов по отношению к аргументам – классическая тема типологических исследований. Рассмотрим, к примеру, существование языков, в которых доминирующим порядком слов является глагол-субъект-объект (VSO), как в ирландском и других кельтских языках (примеры из (McCloskey 1996)):

(30)

- a. *Cheannaigh siad teach anuraidh*
‘Купили они дом в прошлом году’.
- b. *Chuala Roise go minic an t-amharan sin*
‘Слышала Ройс часто эту песню’.

Существование языков VSO нередко расценивается как серьезная теоретическая головоломка. Вообще говоря, прямое дополнение демонстрирует бо-

лее тесную связь с глаголом, чем подлежащее, откуда происходят, к примеру, частотные идиомы типа V-O (*kick the bucket* ‘протянуть ноги’ и пр.), а также тот факт, что субъект структурно расположен выше, чем объект, и потому субъект может связывать возвратное местоимение в объектной позиции, но не наоборот. Эти свойства непосредственно выражаются предположением, что глагол и объект образуют одну составляющую, VP, что исключает субъект — «внешний аргумент» по Уильямсу (*Williams* 1981). Иначе, в терминах гипотезы о внутреннем положении субъекта в VP (высказанной в работах (*Kuroda* 1988; *Koopman and Sportiche* 1991)), эти свойства следуют из допущения, что субъект располагается выше объекта внутри VP. Это легко выразить в языках S[VO] и S[OV], но что можно сказать насчет языков VSO? Как в них может быть не выражена структурная асимметрия между субъектами и объектами и узел VP? Если принять парадигму передвижения ядерных элементов, то порядок слов VSO естественным образом описывается в терминах стандартных VP-структур, в которых глагол в глубинной структуре занимает положение, соседствующее с прямым дополнением, а передвижение глагола к более высоко расположенному функциональному ядерному элементу осуществляется в силу отдельных самостоятельных причин (*Emonds* 1980; *McCloskey* 1996 и указанная там литература). Если позиция функционального ядерного элемента уже заполнена автономным функциональным глагольным элементом, например вспомогательным глаголом в валлийском языке в (31 b), то полнозначный глагол остается на своей позиции внут-

ри VP (и уж во всяком случае ниже субъекта; см. примеры из (*Roberts 2000*)):

(31)

- a. *Canə i yforg*
‘Спою я завтра’.

- b. *Bydda i 'n canu yforg*
‘Буду я петь завтра’.

Отчасти сходным образом в работе (*Koopman 1983*) анализируются перемены порядка слов в западноафриканском языке вата (SVO, SAuxOV) в терминах глагольно-конечного VP и IP, где I занимает срединное положение. Когда словоизменительные показатели не выражены вспомогательным глаголом, V передвигается в позицию I, тем самым предопределяя порядок слов SVO.

Этот способ объяснения вскоре был распространён на самые различные языковые семьи, например на подробный анализ сентенциальной структуры в семитских языках (*Borer 1995; Shlonsky 1997*). Множить такого рода примеры нетрудно: даже базовые вариации в порядке ядерный элемент – дополнение, как оказалось, можно правдоподобным образом свести к фиксированному глубинному порядку с возможными перестановками (например OV выводится из VO путем передвижения объекта влево). Подход Кайна (*Kayne 1994*), основанный на тезисе об «антисимметрии», подкрепил этот анализ.

5.4. Левая периферия, группа детерминатора и другие продолжения

При анализе высших слоев структуры предложения – его левой периферии – оказалось возможно

аналогичное развитие событий. В разнообразных проявлениях инверсии в главной части вопросительных предложений (инверсия субъекта и вспомогательного глагола в английском, инверсия субъекта и клитики, сложная инверсия во французском и пр.: см. работы в сб. (*Bellotti and Rizzi 1996*)) можно было выделить те же основные ингредиенты: постулирование сущностно единого структуры по всем языкам, передвижение спрягаемого глагола в позицию ядерного элемента в системе дополнителя С и передвижение вопросительной составляющей в позицию спецификатора в этой системе. Случаи такого рода были сведены к сохранившимся в некоторых конструкциях проявлениям генерализованного порядка слов, при котором глагол занимает второе место. Этот процесс и сейчас вполне активен в вершинных предложениях германских языков; единственным заметным исключением является современный английский. Изучение левой периферии привело также к детальным исследованиям позиций, специально выделенных для то-тика и фокуса (помимо прочей литературы (*Kiss 1995; Rizzi 1997 b*)), препозиции обстоятельств, а также позиций различных типов левопериферийных операторов, что опять-таки привело к открытию важных элементов межязыкового единства.

Параллельным направлением характеризовалось развитие анализа именных структур в рамках гипотезы о группе детерминатора. Именные составляющие поначалу мыслились как проекции полнозначного ядерного элемента N, но с середины 1980-х гг. (см. диссертацию (*Abney 1987*)) NP стали считать дополнением функционального ядерного элемента – детерминатора D, который порождает собственную проекцию DP.

Последующие исследования (см. (*Ritter* 1991) и указанную там литературу) еще более обогатили функциональную структуру именных выражений выделением нескольких самостоятельных слоев, доминирующих над лексической проекцией NP. Именная группа стала сложной структурной сущностью, имеющей общие основные свойства с функциональной структурой предложения. Проекцию DP можно было рассматривать как периферию именной группы, структурную зону, параллельную группе дополнителя CP по отношению к собственно предложению (*Szabolcsi* 1994; *Siloni* 1997), а связанные с согласованием функциональные проекции оказались сопоставимы с согласовательным функциональным скелетом предложения. Между предложениями и субстантивными выражениями возникает содержательный параллелизм, в котором воплощено интуитивное чувство межкатегориального единства, ведущее к самым истокам трансформационной грамматики, но отныне выражаемое в гораздо более жестких рамках (см. подход Лиза (*Lees* 1960) к номинализации и последовавшую критику Хомского (*Chomsky* 1970)).

При анализе в терминах DP нашли естественную интерпретацию всевозможные типы межъязыкового разнообразия: различные дистрибутивные свойства адъективных модификаторов в разных языках стало возможно частично связать с различно заданными ограничениями на передвижение N таким образом, что просматривались значительные параллели с изучением порядков V-Adv в предложении как функции от передвижения V. Порядок AN в германских языках и (превалирующий) порядок NA в романских языках с тем же классом прилагательных отчасти можно

было свести к отсутствию передвижения N в германских языках или с более жестко ограниченным пространством для такого передвижения ((*Cinque* 1996); см. также (*Longobardi* 1994; *Giorgi and Longobardi* 1991)):

(32)

- a. *The Italian invasion of Somalia*
- b. *L'invasione italiana della Somalia*
‘Итальянское вторжение в Сомали’.

(33)

[*L*[*invasione* + X [*italiana t della Somalia*]]].

Если порядок NA определяется передвижением N к функциональному ядерному элементу, занимающему промежуточное положение между N и детерминатором D (который в (33) обозначен X-м), то порядок ND в некоторых языках (*portret-ul* ‘портрет-опред. артикль’ в румынском) на похожих основаниях можно рассматривать как проявление дальнейшего передвижения N, в результате которого D принимает аффиксоподобный вид (обсуждение см. в (*Giusti* 1993; *Dobrovie-Sorin* 1988)).

Гипотеза о DP также предлагает естественный анализ романских местоименных клитик как DP, не имеющих лексического ограничения, благодаря чему улавливается морфологическое соответствие определенному детерминатору (для аккузативных клитик третьего лица). В конструкциях с клитиками поэтому, вероятно, задействована не особая лингвоспецифичная категория, но скорее особые дистрибутивные свойства (для романских клитик – связанность с V) знакомых элементов D. Конструкции с дублированием клитик, возможно, связаны с итерацией ядерного элемента D в сложной составляющей DP,

заканчивающейся ограничением лексического NP. Таким способом эта известная своей сложностью область может найти естественное объяснение, способное уловить как связанную с передвижением природу клитизации (*Kayne 1975; Sportliche 1998*), так и дублирование одного и того же аргумента, которое иначе было бы удивительно (см., помимо другой литературы, (*Bellotti 1999; Uriagereka 1995; Torrego 1995*)).

Мы уже упоминали идею о том, что функциональная структура предложения в основном единообразна и большая часть наблюдаемого разнообразия (а возможно и все) связана со степенью морфологической реализации функциональной структуры. Этот подход на деле распространяет на область глагольной морфологии то направление исследований, которое лет двадцать тому назад доказало свою успешность на материале морфологии падежа: значительные видимые различия между функционирующими падежными системами допускали по существу единообразные системы приписывания/личения падежа с одинаковыми синтаксическими последствиями независимо от конкретного языка (т. е. запуском передвижения в пассиве, неаккузативными и поднимающими глаголами и пр.). Большая часть разнообразия в результате сводилась к явной или неявной морфологической реализации падежа (*Vergnaud 1982*). В вырисовывающейся картине синтаксис, в основном единообразный за исключением набора параметров, сочетается с системами словоизменительной морфологии, которые допускают разнообразие (по-видимому, с широким спектром возможных словоизменительных парадигм – от очень богатых до крайне скучных – и с выражением параметрических значений для синтаксического компонента:

передвижение составляющих и ядерных элементов должно быть либо явным, либо неявным и пр.).

Эмпирические исследования IP, CP и DP раскрыли чрезвычайно богатые функциональные структуры, дополняющие лексические проекции существительных и глаголов. Это открытие, начатое где-то в середине 1980-х гг., в последнее время вызвало автономные исследовательские проекты – «картографические» проекты, целью которых является составление максимально подробных карт синтаксических конфигураций. Результаты картографических исследований в конце 1990-х гг. и текущие работы (см., к примеру, статьи в сб. (*Cinque 2001; Belletti 2004; Rizzi 2004*)), хотя и ведут к более богатым синтаксическим представлениям, чем считалось еще несколько лет назад (IP, CP и DP обозначают структурно сложные зоны, а не единичные слои), тем не менее, подкрепляют точку зрения о сущностном единстве естественных языков. С одной стороны, подтверждается фундаментальная неизменность функциональных иерархий, хотя представления синтаксических конфигураций обретают большую реалистичность и дробность, чем в более ранних работах (особо в этой связи хочется отметить результаты исследования структуры предложения в (*Cinque 1999*)). С другой стороны, все филигранные структуры предложений и составляющих складываются из одного строительного материала – минимальной структуры, возникающей в результате фундаментальной структурообразующей операции *merge* ‘сцепить’ в системе (*Chomsky 1995 a*). Лексикон функциональных элементов оказывается намного богаче, чем считалось прежде, но фундаментальные исчисления, нанизывающие элементы один к одному,

являются элементарными и единообразными для всех категорий и всех языков.

Открытие глубины и широты межъязыкового единообразия позволило мыслить УГ как непосредственный компонент конкретных грамматик, и притом наиболее важный их компонент; в свою очередь параметрические модели внедрили соответствующий специальный язык для расширения и углубления процесса открытия межъязыкового единообразия. Таким образом, разработка моделей и отточенность эмпирических открытий, в которых эти модели коренятся, идут рука об руку на протяжении двадцати последних лет.

6. Минималистская программа

6.1. К истории вопроса

Подход принципов и параметров обеспечивает потенциальное решение логической проблемы усвоения языка, одновременно разрешая напряжение между дескриптивной и объяснительной адекватностью: усвоение очень сложных грамматических моделей можно проследить к врожденным принципам и ограниченному процессу отбора вариантов. Таким образом, в каком-то смысле наблюдаемые свойства конкретной грамматики получают объяснение, ведь они сводятся к свойствам УГ и ограниченному остатку. Далее встает ряд вопросов, касающихся самой формы УГ: поддаются ли свойства УГ дальнейшему объяснению или же процесс объяснения должен остановиться на текущем состоянии нашего понимания? С одной стороны, не исключено, что более глубокое понимание физического субстрата УГ дало бы дальнейшие

объяснения существования некоторых из ее свойств: вполне может быть так, что принципы структурной организации и интерпретации языковых выражений имеют ту форму, которую мы наблюдаем, а не какую-либо другую вообразимую форму, в силу некой необходимости, внутренне присущей вычислительной технике, т. е. соответствующим структурам мозга. С другой стороны, подробное исследование физического субстрата — это отдаленная цель, ожидающая крупных продвижений в науках о мозге (не говоря уже о деле еще более далекого будущего, когда будут исследованы соответствующие эмбриологические и генетические факторы), и при этом вполне может потребоваться введение совершенно новых понятий. Для того чтобы связать и интегрировать функциональное моделирование и изучение исчисления на клеточном уровне, как подчеркивается в гл. 3 настоящей книги, могут оказаться необходимыми крупные эмпирические открытия и концептуальные прорывы. А какие направления можно развивать на ближайшую перспективу? Здесь-то и вступают в игру минималистские вопросы.

Идея о том, что язык может быть устроен экономно, продиктована разнообразными соображениями. Уже многие труды в структуралистской традиции указывали, что организация языковых инвентарей подчиняется некоторым принципам экономии (см. недавнее обсуждение соссюровской идеи о том, что «*dans la langue il n'y a que des différences*» [в языке нет ничего, кроме различий]^{*}, в терминах принципа блокирования в (Williams 1997)). В традиции порождающей

* Цит. по рус. пер. С. 152. — Прим. перев.

грамматики попытки дать критерий оценки для отбора конкурирующих способов анализа систематически базировались на идее простоты, и выше всего ценились те решения, сложность которых была минимальной (наименьшее число элементов, наименьшее число правил). Непосредственное отражение этих идей можно также найти в изучении употребления языка, где попытки определить степень сложности основывались на количестве вычислительных операций, которые надо было совершить (как в «теории деривационной сложности»; критическое обсуждение см. в (*Fodor, Bever, and Garrett 1974*)). Такие принципы, как «избегай местоимения», также предполагали выбор наиболее элементарной формы, совместимой с грамматичностью (в частности, опущение местоимений, насколько возможно, следует предпочитать выражению местоимений), – эта идея имеет связь с подходом Грайса* к успешному применению языковых структур в разговоре. Позднее идея «избегай местоимения» была генерализована и в результате возникли принципы структурной экономии (см., например (*Cardinaletti and Starke 1999; Giorgi and Pianesi 1997; Rizzi 1997 b*)), которые вынуждали выбирать минимальную совместимую с грамматичностью структуру. С середины 1980-х гг. принципы репрезентационной и деривационной экономии вышли на передний план синтаксической теории. (Введение понятий и техник минималистского синтаксиса см. также в (*Radford 1997; Uriagereka 1998*).)

* См., например, статью Г. П. Грайса в рус. пер.: *Грайс Г. П. Значение говорящего, значение предложения и значение слова // Философия языка. М.: УРСС, 2004. – Прим. ред.*

6.2. Репрезентационная и деривационная экономия

В том, что касается репрезентационной экономии, важную роль приобрел принцип полной интерпретации, согласно которому на уровне интерфейсов каждый элемент должен пройти проверку интерпретацией. Соответственно, если процессы исчисления таковы, что на каком-то уровне репрезентации присутствуют неинтерпретируемые элементы, то ко времени достижения логической формы (ЛФ) эти элементы должны исчезнуть. К примеру, вставные элементы вроде *there*, которые необходимы для выражения обязательной позиции субъекта в таких конструкциях, как (34 a), сами по себе не имеют референтного содержания и, надо полагать, вообще не получают никакой интерпретации на уровне логической формы. Поэтому, в силу принципа полной интерпретации они должны исчезнуть прежде, чем этот уровень будет достигнут. Классическим подходом к этой проблеме является, например, гипотеза о том, что вставной элемент при достижении ЛФ замещается полнозначным субъектом, что представляет собой еще один пример неявного передвижения и дает интерпретацию ЛФ типа (34 b), которая соблюдает принцип полной интерпретации (однако см. другой анализ в (Williams 1984; Moro 1990)).

(34)

a. *There came a man*

b. *A man came* —

‘Пришел мужчина’.

Такой анализ сразу же объясняет тот факт, что отношение между вставным и полнозначным субъектом

локально в том же смысле, в каком локальны аргументные цепочки (например, отношение между поверхностным субъектом пассивного предложения и его «следом», пустой позицией объекта, в которой семантически интерпретируется поверхностный субъект: *John was fired* — ‘Джон был уволен’*; по большому счету оба отношения должны подчиняться ограничениям на локальность, таким как релятивизированная минимальность, о чем см. ниже): в обоих случаях сохраняется одна и та же конфигурация на уровне ЛФ ((*Chomsky* 1986 а) на основе наблюдений (*Burzio* 1986)).

На деривационном уровне экономия выражается принципом, который гласит, что передвижение – это операция на крайний случай: не бывает «свободного», подлинно факультативного передвижения, всякое удлинение цепочки должно быть мотивировано какой-то вычислительной потребностью. Неплохую интуитивную иллюстрацию этой идеи дает передвижение глагола к словоизменительной системе, которое мотивируется потребностью глагола подобрать аффиксы времени, согласования и пр., которые сами по себе не составляют отдельных слов: таким образом, определенные виды передвижения мотивируются потребностью выразить структуру как последовательность грамматичных и произносимых слов. Такого рода связь между передвижением и морфологическими требованиями помогает, кроме того, объяснить некоторые диахронические обобщения: утрате передвижения глагола к флексивной системе в английском языке сопутствовало или непосредственно предшество-

* Ср. также винительный падеж в другом русском переводе этого предложения: «Джона уволили». – Прим. перев.

вало радикальное ослабление флексивной парадигмы (см. (*Roberts 1993*) и многие работы по той же тематике). Необходимо учитывать и целый ряд осложняющих факторов, однако сама базовая корреляция между богатой словоизменительной морфологией и передвижением глагола представляется вполне стойкой, во всяком случае для романских и германских языков (см. также (*Vikner 1997*) и указанную там литературу).

Непосредственной иллюстрацией передвижения как крайней меры служит модель согласования причастий прошедшего времени в романских языках. Причастие прошедшего времени, скажем, во французском языке, не согласуется с неподвижным прямым дополнением, но согласуется, если объект передвигается, как, например, в относительной конструкции:

(35)

*Jean a mis(*e) la voiture dans le garage*
'Жан поставил(*Agr) машину в гараж'.

(36)

La voiture que Jean a mise dans le garage
'Машина, которую Жан поставил(+Agr) в гараж (букв.:
Машина, которую Жан имеет поставленной в гараж)'.

Следуя классической теории причастного согласования Кейна (*Kayne 1989*), мы можем считать, что согласование включается тогда, когда объект проходит через позицию, структурно близкую к причастию прошедшего времени (в формализованных терминах, позицию спецификатора согласовательного ядерного элемента, связанного с причастием). Таким образом, соответствующая репрезентация должна иметь вид (37), где *t* и *t'* суть «следы» передвижения (об этом понятии см. ниже). Но дело в том, что прямое дополнение может пройти через эту позицию транзитом,

но не может остаться в ней: (38), где объект выражен в пред-причастной позиции, — неграмматичное предложение:

(37)

La voiture que Jean a t' mise t dans le garage
‘Машина, которую Жан поставил + Agr в гараж’.

(38)

**Jean a la voiture mise t dans le garage*
букв. ‘Жан имеет машину, поставленную в гараж’.

Почему так? Как всякое субстантивное выражение, прямое дополнение должно получить падеж, и надо полагать, что оно получает аккузатив в своей канонической позиции объекта (или во всяком случае в позиции, расположенной ниже, чем причастный глагол). Стало быть, причин передвигаться выше у него нет и (38) исключается потому, что это «бесполезное» передвижение. С другой стороны, в (37) объект, как относительное местоимение, не может не передвинуться далее на левую периферию предложения, ибо только так он сможет законным образом пройти через позицию, которая вызывает согласование причастия прошедшего времени.

Подход к передвижению как к крайней мере подразумевает, что подлинно факультативного передвижения не бывает. Это обстоятельство заставило заново проанализировать случаи видимой факультативности, в результате чего нередко вскрывались тонкие различия в интерпретации. К примеру, так называемая «инверсия субъекта» в итальянском и других языках с опущением субъекта, которая прежде анализировалась как полностью факультативный процесс, как оказалось, с необходимостью предполагает фокусную интерпретацию субъекта в поствербальной позиции

либо топикальную интерпретацию, сигнализируемую интонационной паузой и снятием интонационного выделения (Belletti 2001):

(39)

- a. *Maria me lo ha detto*
‘Мария мне это сказала’.
- b. *Me lo ha detto Maria*
‘Мне это сказала Мария (+Foc)’.
- c. *Me lo ha detto, Maria*
‘Мне это сказала, Мария (+Top)’.

6.3. Неинтерпретируемые признаки

Деривационная и репрезентационная экономия — обе нашли отражение в идее о том, что синтаксическое передвижение всегда продиктовано целью устранить неинтерпретируемые элементы и свойства. Типичным показателем, который рассматривается как неинтерпретируемый, является структурный падеж (номинатив или аккузатив): элемент, несущий показатель номинатива в английском языке, способен нести любую тематическую роль (агенс, бенефактив, экспериенцер, пациент/тема) и даже не нести никакой роли вовсе, как в (40 е):

(40)

- a. *He invited Mary*
‘Он пригласил Мэри’.
- b. *He got the prize*
‘Он получил приз’.
- c. *He saw Mary*
‘Он увидел Мэри.
- d. *She was invited/seen by John*
‘Она была приглашена/увидена Джоном’.

e. *There was a snowstorm*

‘Была метель’.

Аккузатив столь же безразличен к интерпретативным аргументным свойствам:

(41)

- a. *I expected [him to invite Mary]*
- b. *I expected [him to get the prize]*
- c. *I expected [him to see Mary]*
- d. *I expected [her to be invited/seen by John]*
- e. *I expected [there to be a snowstorm].*

Другие типы падежей, глубинные падежи, связанны с конкретными тематическими интерпретациями: в языках с богатыми падежными системами аргумент, маркированный локативом, обозначает местоположение и пр., однако номинатив и аккузатив все же представляются тематически безразличными. В этом смысле они рассматриваются как неинтерпретируемые (языки, допускающие субъекты с косвенным падежом, так называемые «чудные» (quirky) субъекты, по всей видимости, позволяют субстантивным составляющим иметь одинаковые падежные свойства (см. (Zaenen, Maling and Thráinsson 1985; Bobaljik and Jonas 1996; Jonas 1996; Sigurdsson 2000) и указанную там литературу).

Также неинтерпретируемыми считаются грамматические показатели лица, числа и рода (и иные аналогичные показатели, такие как показатели класса в языках банту) при предикатах, например в следующем итальянском примере:

(42)

<i>La ragazza</i>	<i>è</i>	<i>stata</i>	<i>vista</i>
букв. ‘Девушка	есть	бывшая	увиденной’
(ж.р., 3 л., ед. ч.)	(3 л., ед. ч.)	(ж.р., ед. ч.)	(ж.р., ед. ч.).

Показатели рода, числа и (по умолчанию) лица при именной группе *la ragazza* в (42) имеют очевидную интерпретативную значимость, но эти же показатели при предикате (повторяющиеся в итальянском в словоизменительных окончаниях аспектуального вспомогательного глагола, пассивного вспомогательного глагола и пассивного причастия прошедшего времени) избыточны и в этом качестве рассматриваются как неинтерпретируемые: внешним системам, интерпретирующими языковые структуры, определенно нужно знать, говорит ли предложение об одной девушке или о многих девушках, но повтор этой информации при предикате, как представляется, не добавляет ничего интерпретативно релевантного. На самом деле, предикаты, не воспроизводящие показатели признаков субъекта, в нефинитных структурах или в языках с не столь богатой морфологией вполне поддаются интерпретации. (Представляется, что в некоторых случаях согласовательные показатели могут иметь какие-то последствия для интерпретации, как указывалось в связи с обсуждавшимся выше причастным согласованием во французском (*Obenauer* 1994; *Déprez* 1998), но это может быть косвенным эффектом теории реконструкции (*Rizzi* 2001 b).)

Передвижение в этой системе видится способом устранения неинтерпретируемых признаков. К примеру, в результате передвижения прямого дополнения в позицию субъекта оно помещается в такое локальное окружение, в котором его неинтерпретируемый падежный признак может быть согласован с грамматическим ядерным элементом и вычеркнут; одновременно в результате этой операции будут вычеркнуты неинтерпретируемые согласовательные призна-

ки при грамматической составляющей. Вычеркивание признака равнозначно его устраниению с деривационного пути, ведущего к исчислению логической формы. Таким образом, передвижение – это крайняя мера в том смысле, что оно должно мотивироваться целью устранения неинтерпретируемых признаков, что в свою очередь позволяет удовлетворить принцип полной интерпретации на интерфейсных репрезентациях (*Chomsky* 1995 а). Элемент, подвергающийся передвижению, должен обладать внутренней мотивацией для того, чтобы передвигаться, а именно потребностью устраниТЬ показатели неинтерпретируемых признаков. Так, возвращаясь к французской конструкции (36): объект не может передвигаться, потому что его неинтерпретируемый аккузативный падеж уже вычеркнут в его базовой позиции (или уж, во всяком случае, в позиции ниже позиции спецификатора причастия), и никаких других признаков, которые бы сделали его «активным», т. е. готовым к дальнейшему передвижению, он не имеет. На тот случай, если объекту будет необходимо претерпеть дальнейшее передвижение, например к дополнителю относительного предложения, как в (37), у него найдутся такие неинтерпретируемые признаки, которые требуются для левопериферийного передвижения в этой системе (*Grewendorf* 2001), что и сделает его подходящим кандидатом для передвижения.

Принцип передвижения как крайней меры, несмотря на свой телеологический привкус, может реализоваться вполне элементарным образом, требуя лишь локальных решений и не нуждаясь в сложных для вычисления процедурах, таких как трансдеривационные сравнения, прогнозирование и т. п.

(о локальной экономии см. (Collins 1997)). Отличным, но похожим случаем ограничения на передвижение, наложенного по соображениям экономии, является предложение, чтобы *Merge*, основная структурообразующая операция, упреждала передвижение в тех случаях, когда обе эти операции одинаково применимы для удовлетворения вычислительных потребностей (Chomsky 1995 a, 2000 a, 2001 a). Случаем, который иллюстрирует этот момент, является весьма своеобразное распределение субстантивных составляющих во вставных конструкциях. Вставная конструкция (43 а) предполагает, что субстантивная конструкция *a man* ‘мужчина’ вначале вводится в структуру как субъект локатива *in the garden* ‘в саду’, функционирующего как предикат: если никакого вставного элемента не выбирается, то в позицию субъекта связки передвигается именная конструкция, иначе вводится вставной элемент:

(43)

- a. *There is [a man in the garden]*
- b. *A man is [t in the garden]*
‘Мужчина находится в саду’.

Однако в более сложной структуре, включающей более высоко расположенный поднимающий глагол (как в (44 а)), возникает следующее любопытное ограничение: либо никакого вставного элемента не выбирается и именная фраза передвигается до самой позиции субъекта поднимающего глагола (как в (44 б)), либо вставной элемент вставляется уже во вложенное предложение и затем поднимается (как в (44 с)); априорно остающийся вариант (44 д) с именной группой, передвигаемой в позицию субъекта вложенного пред-

ложении, и вставным элементом, занимающим позицию субъекта главного предложения, исключается:

(44)

- a. ____ *seems* [____ *to be* [*a man in the garden*]]
- b. *A man seems* [*t' to be* [*t in the garden*]]
‘Мужчина кажется находящимся в саду’.
- c. *There seems* [*t to be* [*a man in the garden*]]
‘Кажется, что мужчина находится в саду’.
- d. * *There seems* [*a man to be* [*t in the garden*]].

По-видимому, если вставной элемент выбирается, то он должен вводиться как можно раньше: структура (44 d), включающая частичное передвижение именной группы и затем введение вставного элемента, исключается. Почему? Простое объяснение этой парадигме дает допущение, что *merge* обходится дешевле, чем передвижение, так что если в (44 a) выбирается вставной элемент, вариант сцепления его с *be* как субъекта упреждает вариант передвижения *a man* в эту позицию ((Chomsky 2000 a); альтернативный анализ в терминах падежных требований именной группы можно найти в (Belletti 1988) и (Lasnik 1992); анализ, основанный на идее о том, что вставной элемент является рго-предикатом, см. (Moro 1990)).

6.4. Локальность

Изучение локальности — это важное самостоятельное исследовательское направление в современной формальной лингвистике, указывающее на роль экономии в устройстве языка. Если длина и глубина языковых выражений, вследствие рекурсивной природы синтаксиса естественного языка, не имеют верх-

него предела, то ядро вычислительных процессов и отношений в основе своей локально, т. е. может иметь место исключительно в структуре ограниченного объема. Локальность разумно истолковать как некий принцип экономии, в том смысле что она ограничивает объем структуры, исчисляемой в ходе одного применения локального вычислительного процесса, и тем самым вносит свой вклад в понижение сложности языковых вычислений. Так, принцип локальности, известный как условие прилегания, который упоминался в связи с вводом понятия параметров (см. выше), сужает поиск цели передвижения до отрезка структуры, содержащегося внутри двух соседних ограничивающих узлов (*Chomsky* 1973, 1986 б). Условие прилегания сводит в одну формулировку многие выводы классических работ по островным ограничениям (*Ross* 1967, 1986); его действие вероятно, можно будет описать каким-то еще не до конца проработанным способом как частный случай условия фазовой непроницаемости (Phase Impenetrability Condition). Указанный принцип, считая, что деривации происходят отдельными «фазами», соответствующими исчислению основных сентенциальных категорий (VP и CP), гласит, что только края фазы (ее спецификатор и ядерный элемент) доступны для операций, происходящих на уровне более высоких фаз (*Chomsky* 2000 а, 2001 а). Таким образом, вычислительный процесс в высшей фазе не может заглядывать слишком глубоко внутрь низшей фазы.

Релятивизированная минимальность – еще один принцип локальности, ограничивающий поиск цели локального отношения ближайшим потенциальным

носителем этого отношения (*Rizzi* 1990); согласно данному принципу, в конфигурации:

(45)

... X ... Z ... Y ...

между X и Y не может установиться локальное отношение, если есть вклиниенный элемент Z того же структурного типа, что и X, так что Z способен каким-то образом вступить в локальное отношение с Y (здесь есть явное фамильное сходство с принципами «минимального расстояния» для контроля (*Rosenbaum* 1967) и с иными аналогичными идеями анафорического связывания). Поэтому локальные отношения должны быть реализованы в наименьшем из окружений, в каких они могут быть полноценно реализованы; объем структуры, подлежащей сканированию при исчислении локального отношения, соответственно ограничивается. Рассмотрим вновь невозможность извлечения адъюнкта из косвенного вопроса:

(46)

**How do you wonder [who solved the problem t]*

'Как ты гадаешь [кто решил проблему t]'.

В соответствии с принципом релятивизированной минимальности *how* нельзя локально связать с его следом t, поскольку между ними вклинивается другая *wh*-составляющая в позиции дополнителя вложенного предложения. Это элемент того же структурного типа, что и *how* (как вrudиментарной типологии позиций, различающих спецификаторы A и A', так и в более сложной, основанной на признаках типологии в работе (*Rizzi* 2001 a)); поэтому в данном окружении отношение «антecedent – след» нарушается и структуру невозможно полноценно интерпретировать. Данный способ объяснения был распространен

на анализ всех слабых островов — окружений, избирательно запрещающих извлечение определенных типов элементов, где основанием отбора является, в общем, различие между аргументом и адъюнктом (обзор см. в (*Szabolcsi 1999*)). Рассмотрим следующие примеры из итальянского языка:

(47)

- a. *Quale problema non sai come risolvere t t'*?
‘Какую проблему не знаешь, как решить t t’?’
- b. **Come non sai quale problema risolvere t t'*?
‘Как не знаешь, какую проблему решить t t’?’

О факторах, детерминирующих избирательную извлекаемость слабых островов с видимым нарушением релятивизированной минимальности, см. подходы (*Rizzi 1990, 2001 a, 2001 b; Cinque 1990; Manzini 1992; Starke 2001*). Изначальная формулировка принципа релятивизированной минимальности носила репрезентационный характер: локальное отношение в конфигурации вида (45) расстраивается на уровне ЛФ; Хомский (*Chomsky 1995 a, 2000 a*) предлагает деривационные формулировки в терминах условия минимального звена (*minimal link condition*) при операции аттракции и локальности операции согласования; о деривационной/репрезентационной формулировке см. также (*Rizzi 2001 b*).

6.5. Теория копирования следов

Все направления исследований, упоминавшиеся в предыдущих параграфах, указывают, что устройство языка чувствительно к принципам экономии и хорошо приспособлено для упрощения и упорядочения

языковых вычислений. Как далеко могут вести эти наблюдения? Минималистская программа разрабатывает этот вопрос, исследуя самый сильный тезис, какой только можно предусмотреть: может ли быть так, что язык – это система, устроенная оптимально, при определенных критериях оптимальности? Минимальная потребность, какую должны удовлетворять языковые исчисления, – это соединение интерфейсных репрезентаций, через которые языковая способность «говорит» с другими компонентами разума: фонетическая форма соединяет язык с сенсомоторными системами восприятия и артикуляции, а логическая форма соединяет язык с мыслительными системами концептов и интенций. Так можно ли сказать, что язык – это система, оптимально устроенная для того, чтобы соединять репрезентации, которые прочитываются сенсомоторной и мыслительной системами?

Минималистская программа поставила на повестку дня исследователей трудную задачу – пересмотреть все результаты, достигнутые в изучении универсальной грамматики, с тем чтобы осмысленным образом реконструировать их в соответствии с минималистскими требованиями. В некоторых случаях оказалось возможно показать, что принятие более «минимального» набора допущений может даже улучшить эмпирическую адекватность анализа. Типичным примером является теория копирования следов и то объяснение, которое она дает эффектам реконструкции. Рассмотрим следующие предложения:

(48)

- a. *Which picture of himself does John prefer?*
букв. ‘Какой портрет себя предпочитает Джон?’

- b. * *Which picture of John does he prefer?*

‘Какой портрет Джона он предпочитает?’

С предложением (48 a) все в порядке, а анафора *himself* связывается существительным *John*. Предложение (48 b) не допускает кореферентности *John* и *he* (это предложение, конечно же, возможно в том случае, если *he* относится к другому индивиду, упомянутому в предшествующем контексте дискурса). Оба эти свойства, впрочем, несколько неожиданы: анафорические элементы вроде возвратного местоимения *himself* должны находиться в области действия (под с-командованием) своего антецедента; если этого не происходит, как в (49 a), структура исключается. Равноправно имя и местоимение вольны отсылать друг к другу, если имя не находится в области действия местоимения, как в (49 b):

(49)

- a. * *This picture of himself demonstrates that John is really sick*

‘Этот портрет себя демонстрирует, что Джон действительно болен’.

- b. *This picture of John demonstrates that he is really sick*

‘Этот портрет Джона демонстрирует, что он действительно болен’.

Почему в (48) мы имеем обратные суждения? По-видимому, дело в том, что в таких конфигурациях с передвинутой вперед сложной составляющей ментальное исчисление принципа связывания осуществляется так, как если бы эта составляющая оставалась в позиции ее следа и не передвигалась вовсе: в действительности суждения о (48) такие же, какие мы имеем с непередвинутыми составляющими:

(50)

- a. *John prefers [this picture of himself]*
‘Джон предпочитает [этот портрет себя]’.
- b. **He prefers [this picture of John]*
*‘Он предпочитает [этот портрет Джона]’.

Этот феномен называется «реконструкция»: передвинутая составляющая в определенных отношениях ведет себя так, как будто она находится в позиции своего следа. Прежние предложения предусматривали операцию, «возвращающую» передвинутую составляющую обратно в позицию своего следа при исчислении ЛФ, либо более сложное исчисление отношений *c*-командования в релевантном окружении (Barss 1986). На самом же деле, как указал Хомский в первой минималистской работе (Chomsky 1993), решение находится сразу, как только мы возвращаемся к основным ингредиентам операции передвижения. Передвижение составляющей включает в себя копирование составляющей в более высокую позицию и последующее удаление из изначальной позиции. Предположим, что составляющая не удаляется из изначальной позиции, а просто остается непроизносимой, без фонетического содержания, но видимой для абстрактных вычислительных операций. Тогда репрезентация (49) будет иметь следующий вид (в ломаных скобках непроизносимые словосочетания в их изначальных позициях):

(51)

- a. *Which picture of himself does John prefer <which picture of himself>*
‘Какой свой портрет Джон предпочитает <букв. какой портрет себя>’.
- b. *Which picture of John does he prefer <which picture of John>*
‘Какой портрет Джона он предпочитает <какой портрет Джона>’.

При применении к этим обогащенным репрезентациям принципы связывания дают нужный результат: в (51 а) имя связывает анафору, а в (51 б) имя не может войти в отношение кореферентности с местоимением, осуществляющим *c*-командование. Никакой сложной теории реконструкции не нужно, а эмпирически корректный результат достигается путем простого отслеживания «передвижения» местоимения к его элементарным вычислительным составляющим (о настройках, необходимых для получения должных структур с варьирующим оператором (*operator-variable structures*) на уровне ЛФ, см. (Chomsky 1993; Fox 2000; Rizzi 2001 b); о том, что, по-видимому, достаточно связывать лишь одно проявление анафоры в (51 а), см. только что указанную литературу, а также обсуждение в (Belletti and Rizzi 1988); о различном поведении аргументов и адъюнктов при реконструкции см. (Lebeaux 1988)).

Другие случаи сложных эмпирических моделей не так легко сводятся к элементарным вычислительным принципам и их взаимодействию. Тем не менее, успешная редукция теории реконструкции указывает на метод анализа, который, возможно, удастся распространить и на другие сферы языковой способности.

В той мере, в какой можно дать положительный ответ на основной минималистский вопрос, крупные фрагменты УГ, как они определились за десятилетия эмпирических исследований, допускают возможность еще одного уровня объяснения. Это, в свою очередь, может послужить руководством для дальнейших исследований смежных когнитивных систем и установить более четкие условия для будущих попыток объединения с науками о мозге.

ГЛАВА 2



Воззрения на язык и разум *



Было бы совершенно уместно начать с некоторых из мыслей мастера, который нас не разочарует, хотя темы, которые я хочу обсудить, далеки от его основных интересов. Галилей, возможно, первым ясно признал значимость центрального и одного из наиболее отличительных свойств человеческого языка: использования конечных средств для выражения неограниченного множества мыслей. В своем *Dialogo* ** он с изумлением описывает открытие средства сообщения своих «самых потаенных мыслей любому другому человеку... с трудом не большим, чем расстановка двадцати четырех значков на бумаге». Это есть величайшее из всех человеческих изобретений, пишет он, сравнимое с творениями Микеланджело — фактическим воплощением коего был сам Галилей, если верить мифологии, составленной его учеником и биографом Вивиани, которая увековечена в кантов-

* Галилеевская лекция. Scuola Normale Superiore. Пиза, октябрь 1999 г.

** «Диалог о двух главнейших системах мира». — Прим. перев.

ском образе реинкарнации Микеланджело в Ньютоне через посредство Галилея.

Галилей ссыпался на алфавитное письмо, но это изобретение оказывается успешным потому, что оно отражает природу языка, которая изображается с помощью этих значков. Вскоре после смерти Галилея философы-грамматисты Пор-Рояля сделали этот дальнейший шаг*, говоря о «чудном изобретении» средства конструирования «из 25 или 30 звуков того бесконечного множества выражений, которое не несет в себе ничего подобного тому, что происходит у нас в уме, но позволяет нам раскрыть другим все, что мы думаем, и всевозможные движения нашей души». Это «бесконечное множество выражений» представляет собой форму дискретной бесконечности, подобной бесконечному множеству натуральных чисел. Теоретики Пор-Рояля признали, что «чудное изобретение» должно стать центральной темой изучения языка, и оригинальным образом развили это прозрение, вырабатывая и применяя идеи, которые лишь много позже стали ведущими темами научного поиска. Одни обрели вторую жизнь и новую форму в понятиях *Sinn* и *Bedeutung* Фреге, другие — в структуре непосредственных составляющих и трансформационных грамматиках второй половины XX в. С современной точки зрения термин «изобретение», конечно же, неуместен, но центральное свойство языка, которое выявил Галилей и его преемники, не менее «чудно» и как продукт биологической эволюции, протекание которой лежит далеко за гранью нынешнего понимания.

* См.: Аро А., Лансло Кл. Грамматика общая и рациональная Пор-Рояля. М.: Прогресс, 1990. — Прим. ред.

То же свойство человеческого языка, с его видимой биологической изолированностью, заинтриговало и Чарльза Дарвина, когда тот обратил внимание на эволюцию человека. В своем «Происхождении человека» Дарвин писал, что собаки в отношении понимания языка, по-видимому, находятся «на той же стадии развития», что и годовалые младенцы, «которые понимают много слов и короткие предложения, но не могут еще вымолвить ни слова». В этом отношении, полагал Дарвин, между людьми и другими животными есть лишь одно различие: «Человек отличается единственно своей едва ли не бесконечно большей силой связывания самых разнообразных звуков и идей воедино». Это «связывание звуков и идей» и есть то самое «чудное изобретение» комментаторов XVII в., которое Дарвин надеялся каким-то образом интегрировать в теорию эволюции.

В теорию эволюции, но не обязательно в процессы естественного отбора: и уж точно не только в них, поскольку они-то тривиальным образом действуют в физическом «русле» и их эффекты надлежит открывать эмпирическим путем, а не задавать определением. Стоит напомнить также и о том, что Дарвин твердо отверг гиперселекционизм своего близкого коллеги Альфреда Рассела Уоллеса, который реанимировали в некоторых современных популярных версиях так называемого «неодарвинизма». Дарвин неоднократно подчеркивал свое убеждение, «что естественный отбор является главным, но не единственным способом видоизменения», тем самым недвусмысленно учитывая целый ряд возможностей, в том числе неадаптивные изменения и функции, возникшие без участия

селекции и детерминированные из структуры. Все эти темы живы и в современной теории эволюции.

Интерес к природе и происхождению «чудного изобретения» ведет к исследованию того компонента человеческого мозга, который отвечает за эти уникальные, поистине волшебные достижения. Этот орган языка, или, как мы могли бы его назвать, «языковая способность», принадлежит всему человеческому виду в равной мере, и отклонения, насколько нам известно, крайне незначительны, за исключением очень серьезной патологии. При созревании и взаимодействии с окружающей средой всеобщая языковая способность принимает то или иное состояние, проходя несколько стадий и, по-видимому, окончательно стабилизируясь к пубертатному периоду. Состояние, достигаемое этой способностью, напоминает то, что в обыденном употреблении называется тем или иным «языком», но лишь отчасти: мы более не удивляемся, когда категориям, внушаемым здравым смыслом, не находится места при стремлении понять и объяснить феномены, которые эти категории по-своему описывают. Вот еще одно достижение галилеевской революции, которое ныне принимается как данность в точных науках, но за их пределами по-прежнему считается неоднозначным — по-моему, неосновательно.

Внутренний язык, в специальном смысле, есть некоторое состояние языковой способности. Каждый внутренний язык обладает средствами конструирования ментальных объектов, которыми мы пользуемся для выражения наших мыслей и интерпретации не прекращающегося ряда явных выражений, с которыми мы сталкиваемся. Каждый из этих ментальных объектов соединяет звук и значение в конкретной струк-

туированной форме. Ясное понимание того, как конечный механизм может сконструировать бесконечное множество таких объектов, было достигнуто лишь в XX в. в трудах по формальным наукам. Эти открытия позволили эксплицитным образом подойти к той задаче, которую выявили Галилей, теоретики Пор-Рояля, Дарвин и некоторые другие — целая россыпь других мыслителей, насколько я сумел выяснить. Последние полвека немалая часть изучения языка посвящена исследованию таких механизмов — в изучении языка они называются «порождающими грамматиками» — и это важная инновация в долгой и богатой истории языкоznания, хотя, как всегда, прецеденты есть, в данном случае они прослеживаются к Древней Индии.

Формулировка Дарвина в нескольких отношениях способна ввести в заблуждение. В современном понимании языковые достижения младенцев идут гораздо дальше того, что им приписывал Дарвин, а за пределами человеческого рода никакие организмы не имеют ничего подобного тем языковым способностям, которые он допускал. И фраза Дарвина «отличается единственно» точно неуместна, хотя замена «единственно» на «главным образом» могла бы быть оправданна: свойство дискретной бесконечности — это лишь одно из многих сущностных отличий человеческого языка от животных систем коммуникации и выражения, да и от других биологических систем, вообще говоря. И конечно же, фразу «почти что бесконечно» надо понимать в значении «неограниченно», т. е. «бесконечно» в релевантном смысле.

Тем не менее, замечание Дарвина по сути верно. Сущностные характеристики человеческого языка, такие как дискретно-бесконечное использование конеч-

ных средств, что интриговало его и его выдающихся предшественников, представляются биологически изолированными, притом это пример совершенно нового развития и в эволюции человека через миллионы лет после отделения от ближайших сохранившихся родственных видов. Более того, «чудное изобретение» должно присутствовать и в годовалом младенце Дарвина, да и в зародыше, пусть в еще не проявленном виде, так же как способность к бинокулярному зрению или половому созреванию заложена в генах, хотя и проявляется лишь на определенной стадии созревания и при надлежащих условиях среды. Схожие выводы представляются весьма правдоподобными и в случае иных аспектов нашей ментальной природы.

Понятие ментальной природы в галилеевскую эпоху подверглось серьезному пересмотру. Оно было сформулировано по-новому, в довольно ясных терминах — и думаю, можно утверждать, в последний раз: это понятие вскоре развалилось и на его месте с той поры ничего не возникло. Понятие разума было выработано в терминах того, что называлось «механистической философией», идеи о том, что естественный мир — это сложная машина, какую в принципе мог бы сконструировать искусный ремесленник. «Мир был лишь набором сцепленных вместе архимедовых простых машин, — замечает галилеевед Питер Махамер, — или же набором соударяющихся корпускул, которые подчиняются законам механического столкновения». Мир был чем-то вроде замысловатых часов и прочих автоматов, которые так возбуждали научное воображение той эпохи, во многом так же, как сегодня компьютеры — и в одном важном смысле этот

сдвиг не фундаментален, как показал Аллан Тьюринг шестьдесят лет назад.

В рамках механистической философии Декарт разработал свою теорию разума и дуализма разума и тела, по-прежнему *locus classicus* многих дискуссий по поводу нашей ментальной природы и, по моему мнению, источник серьезного недоразумения. Сам Декарт шел осмысленным путем. Он стремился продемонстрировать, что неорганический и органический мир можно объяснить в терминах механистической философии. Вместе с тем, он доказывал, что фундаментальные аспекты человеческой природы ускользают из этих рамок и не укладываются в эти термины. Его основным примером был человеческий язык: в особенности то самое «чудное изобретение» средства выражения наших мыслей все новыми способами, которые ограничиваются нашим телесным состоянием, но не определяются им; соответствуют тем или иным ситуациям, но не обуславливаются ими — принципиальное различие; вызывают в других мысли, которые они могли бы выразить похожими способами, — словом, весь тот набор свойств, который мы бы назвали «кreatивным использованием языка».

Да и вообще, как мыслил Декарт, «свободная воля сама по себе есть самый благородный дар, какой у нас только может быть», и единственное, что нам «подлинно принадлежит». Как выражали этот тезис его последователи, люди лишь «побуждаемы и склонны» действовать определенным образом, но никоим образом не действуют «вынужденно» (или случайно). В этом отношении они не похожи на машины — категорию, которая по их мысли включает в себя весь внечеловеческий мир.

Для картезианцев «кreativeивный аспект» обыденного использования языка вообще был самой поразительной иллюстрацией нашего благороднейшего дара. Принципиальным образом он полагается на «чудное изобретение» — механизмы, отвечающие за обеспечение «бесконечного множества выражений» для выражения наших мыслей и для понимания других людей, хотя он зависит еще много от чего.

О том, что мы сами обладаем этими благородными качествами разума, мы знаем благодаря рефлексии; другим мы их приписываем, в картезианской модели, в силу аргументов о «наилучшей теории», как они теперь называются: только так мы можем управиться с проблемой «других разумов». Тело и разум суть две субстанции, одна протяженная субстанция, другая — мыслящая субстанция, *res cogitans*. Первая подпадает под компетенцию механистической философии, вторая — нет.

Принимая механистическую философию, «Галилей создал новую модель понимаемости — доступности для человеческого понимания», — правдоподобно утверждает Махамер. Эта модель предполагала «новые критерии стройных объяснений природных явлений», основанные на картине мира как хитроумной машины. Для Галилея и вообще для ведущих фигур научной революции Нового времени истинное понимание требует создания механической модели, устройства, какое мог бы сконструировать ремесленник. Так, Галилей отверг традиционные теории приливов, потому что мы не можем «воспроизвести [приливы] с помощью надлежащих искусственных приспособлений».

Галилеевская модель понимаемости имеет одно следствие: когда отказывает механизм, отказывает понимание. Видимые недостатки механического объяснения сцепления, притяжения и других феноменов в конце концов побудили Галилея отвергнуть «тщетную презумпцию понимания всего». Хуже того, «нет ни одного эффекта в природе... такого, чтобы самый остроумный теоретик мог прийти к полному пониманию онного». Как убедительно показал Декарт, для разума галилеевская модель явно не работает. Будучи настроен намного оптимистичнее, чем Галилей, по поводу перспектив механического объяснения, Декарт, тем не менее, предполагал, что действие *res cogitans*, возможно, лежит за гранью человеческого понимания. Он думал, что нам, быть может, «недостает ума», чтобы понять креативный аспект использования языка и другие проявления разума, хотя и «нет ничего, что мы бы понимали более ясно и совершенно», нежели наше обладание этими способностями, и «было бы абсурдно сомневаться в том, что мы внутренне испытываем и воспринимаем как существующее в нас, только потому, что мы не понимаем материю, о которой нам из ее природы известно, что она непостижима». Говоря, что нам «известно», что данная материя непостижима, Декарт заходит слишком далеко, но всякий, кто придерживается убеждения, что люди являются биологическими организмами, а не ангелами, признает, что человеческий разум имеет особую компетенцию и границы и что многое из того, что мы стремимся понять, вероятно, лежит за этими пределами.

Тот факт, что *res cogitans* ускользает от той модели понимаемости, которая вдохновляла современную научную революцию, интересен, но отчасти не сущ-

ствен. Ведь вся эта модель быстро развалилась, подтверждая худшие опасения Галилея. Ньютон, к ужасу своему, продемонстрировал, что ничто в природе не подпадает под компетенцию механической модели понимаемости, которую создателям науки Нового времени, казалось, подсказывал элементарный здравый смысл. Ньютон считал свое открытие действия на расстоянии, вопреки базовым принципам механистической философии, «столь великим Абсурдом, что, мыслю, ни единый муж, который в философских материях сведущую способность к мышлению имеет, никогда бы в оный не впал». Тем не менее, он был вынужден заключить, что этот Абсурд «действительно существует». «Ньютон не имел тому вообще никакого физического объяснения», — замечают две современные исследовательницы, указывая на глубочайшую проблему как для самого Ньютона, так и для его выдающихся современников, которые «обвиняли его в привнесении оккультных качеств» без «физического, материального субстрата», какой «способны понять человеческие существа» (Бетти Доббс и Маргарет Джейкоб). По словам одного из основателей современного галилееведения, Александра Койре, Ньютон продемонстрировал, что «чисто материалистическая или механистическая физика» «невозможна»*.

До конца своей жизни Ньютон стремился уйти от этого абсурда, как и Эйлер, и д'Аламбер, и много кто еще после них — но все напрасно. Ничто не умалило силы суждения Дэвида Юма, что, опровергнув

* См. книгу А. Койре в рус. пер.: *Койре А. Очерки истории философской мысли. О влиянии философских концепций на развитие научных теорий. М.: УРСС, 2003. — Прим. перев.*

самоочевидную механистическую философию, Ньютон «возвратил изначальные тайны [природы] в тот мрак, в котором они всегда пребывали и будут пребывать»*. Позднейшие открытия, привнесшие еще больше крайнего «Абсурда», лишь еще глубже укоренили осознание того, что естественный мир непонятен для человеческого разума, по крайней мере в том смысле, какой предвосхищали основатели науки Нового времени.

Хотя и признавая Абсурд, Ньютон энергично защищался от критики континентальных ученых — Гюйгенса, Лейбница и др., — которые ставили ему в вину привнесение «оккультных качеств» презираемых философов-схоластов. Он писал, что оккультные качества теоретиков аристотелевского толка были бессодержательны, зато новые принципы, пусть, к несчастью, оккультные, имеют, тем не менее, содержательное наполнение. «Вывести два или три общих Принципа Движения из Феноменов и затем сказать нам, как свойства и Действия всех Вещей телесных из тех явных принципов следуют, — было бы великим шагом в Философии, хотя бы даже Причины оных принципов еще не были открыты», — писал Ньютон. Тем самым он формулировал новую, более слабую модель понимаемости, корни которой уходят в направление, получившее название «смягченного скептицизма» британской научной традиции, которая за безнадежностью оставила поиск «первых пружин естественных движений» и других природных явлений и ограничи-

* Цит. по рус. пер.: Юм Д. Сочинения: В 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1965. С. 848. — Прим. перев.

лась гораздо более скромным усилием выработать лучшее теоретическое объяснение, на какое хватит сил.

Последствия для теории разума были самые непосредственные, и они были признаны сразу. Представление о дуализме разума и тела более не выдерживало критики, потому что никакой идеи тела не было. В последние годы стало принято высмеивать Декартов «дух в машине» и говорить о «заблуждении Декарта», заключавшемся в постулировании второй субстанции: разума, отличного от тела. Это верно, что Декарт оказался неправ, но не по этим причинам. Ньютон изгнал машину; дух же остался невредимым. Как раз первая субстанция, протяженная материя, вдруг таинственно растворилась. Мы можем осмысленно говорить о *физических* феноменах (процессах и пр.), рассуждая о *реальной* истине или *реальном* мире, но при этом не предполагается, что есть какая-то другая истина или другой мир. Для естественных наук существуют ментальные аспекты мира — наряду с оптическими, химическими, органическими и др. Необязательно, чтобы категории были твердыми, четкими или чтобы они соответствовали интуиции, подсказанной здравым смыслом, — эту норму наука окончательно остановила с открытиями Ньютона, наряду с требованием «понимаемости», как оно замышлялось Галилеем, да и вообще всей наукой Нового времени.

В этой перспективе ментальные аспекты мира оказываются вместе с остальной природой. Еще Галилей доказывал, что «в настоящее время нам надо лишь... исследовать и демонстрировать некоторые из свойств ускоряющегося движения», оставляя в стороне вопрос о «причине ускорения естественного движения». После Ньютона этот путеводный прин-

цип был распространен на всю науку. Английский химик XVIII в. Джозеф Блэк рекомендовал, чтобы «химическая связь была общепринятым первым принципом, объяснить который мы можем не более, чем Ньютон мог объяснить гравитацию, а объяснение законов связи пусть будет отложено до тех пор, пока мы не выстроим учение в таком объеме, в каком его выстроил Ньютон в отношении законов гравитации». Химия пошла по этому пути. Она выстроила добротное учение, достигшее своих «триумфов... в изоляции от переживающей новое становление науки физики», как указывает ведущий историк химии (Арнольд Тэрэй). Чуть ли не до середины XX в. видные ученые считали молекулы и химические свойства всего лишь вычислительными приемами, а ведь понимание этих материй и тогда далеко превосходило все, что ныне известно о ментальной реальности. Окончательно объединение было достигнуто шестьдесят пять лет назад, но только после того, как физика подверглась радикальному пересмотру, уйдя еще дальше от интуиции здравого смысла.

Отметим, что это было объединение, а не редукция. Химия не только казалась несводимой к физике того времени, но и была таковой.

Из всего этого можно извлечь важные уроки для изучения разума. Хотя для нас сегодня они должны быть куда более очевидными, они уже были ясны после того, как Ньютон опроверг механистическую философию. И эти уроки сразу же были извлечены, в развитие предположения Локка, что, возможно, Бог предусмотрел «придать материю способность мышления» так же, как Он «присоединил к движению такие эффекты, способным на производство каковых

мы движение помыслить никоим образом не можем». По словам Ньютона, сказанным в защиту постулирования природных активных принципов в материи, «Бог, который дал животным самодвижение за гранью нашего понимания, без сомнения, способен вживить в тела иные принципы движения, которые нам могут быть столь же мало понятны». Подвижность органов движения, мышление, волевые акты — все «за гранью нашего понимания», хотя мы можем стремиться найти «общие принципы» и «выстраивать учения», дающие нам ограниченное понятие об их фундаментальной природе. Такие идеи естественно привели к выводу о том, что свойства разума возникают из «организации самой нервной системы», что те свойства, которые «понимаются под термином „ментальный“», суть результат «органической структуры» мозга так же, как материя «наделена силами притяжения и отталкивания», которые действуют на расстоянии (Ламетри, Джозеф Пристли). Какая могла бы быть стройная альтернатива, — неясно.

Столетие спустя Дарвин выразил свое согласие. Он задал риторический вопрос: «Отчего бы мысль, будучи секрецией мозга, была более чудесной, нежели сила тяжести — свойство материи?» В сущности, это указание Локка, которое затем конкретизировали Пристли и др. Однако хорошо при этом помнить, что проблемы, поднятые картезианцами, так и остались без внимания. Никакого содержательного «учения» по поводу обыденного креативного использования языка и других проявлений нашего «благороднейшего» качества нет. А без этого нельзя всерьез поднимать вопросы об объединении.

Современные когнитивные науки, включая сюда и лингвистику, сталкиваются с проблемами, во многом сходными с проблемами химии из-за крушения механистической философии до 1930-х гг., когда учение, выстроенное химиками, было объединено с радикально пересмотренной физикой. Современная неврология обычно выдвигает как путеводную идею тезис о том, что «все ментальное, да собственно и разум, есть развивающиеся свойства мозга», признавая при этом, что «это развитие не считается неподдающимся дальнейшему упрощению, но происходит по принципам, которые управляют взаимодействием между событиями более низкого уровня, — по принципам, которые мы пока не понимаем» (Вернон Маунткасл). Это тезис часто представляют как «удивительную гипотезу», «дерзкое утверждение о естественном характере ментальных процессов и их обусловленности нейрофизиологической деятельностью мозга», «радикально новую идею» в философии разума, которая, по мнению некоторых, сможет наконец-то отправить на покой картезианский дуализм, хотя при этом высказываются сомнения в возможности преодолеть видимую пропасть между телом и разумом.

Смотреть на это дело таким образом, однако, не следует. Тезис стар, а вовсе не нов; он досконально перефразирует утверждения Пристли и других двухсотлетней давности. Более того, это фактическое следствие крушения дуализма сознания — тела, поскольку Ньютон подорвал концепцию материи в сколько-нибудь понятном смысле, и науке остались проблемы «выстраивания учений» в различных областях исследования и поиска путей объединения.

Как объединение может произойти и может ли оно быть достигнуто человеческим разумом или хотя бы в принципе, — этого мы не будем знать до тех пор, пока не узнаем. Спекуляции здесь столь же праздны, как в химии в начале XX в. А ведь химия — это точная наука, она идет сразу за физикой во вводящей в заблуждение иерархии редукционизма. Интеграция ментальных и прочих аспектов мира представляется отдаленной целью. Даже для насекомых, например для так называемого «языка пчел», проблемы реализации и эволюции мозга едва маячат на горизонте. Вообще-то можно только удивляться, что такие проблемы являются темами оживленных спекуляций применительно к несоразмерно более сложным, малопонятным системам высших человеческих ментальных способностей, языка и т. д. и что мы регулярно слышим уверенные заявления по поводу механизмов и эволюции такого рода способностей — применительно к человеку, а не к пчелам; с пчелами понятно, что проблемы слишком трудные. Обыкновенно эти спекуляции предлагаются как решения проблемы дуализма сознания — тела, но вряд ли так может быть, ведь проблема триста лет не имеет связной формулировки.

Пока же изучение языка и других высших ментальных способностей человека продвигается во многом так же, как когда-то химия, стремясь «выстроить добротное учение» с прицелом на объединение в конечном итоге, но безо всякой ясной идеи того, как именно оно произойдет.

Некоторые из исследуемых учений довольно удивительны по своим следствиям. Так, теперь представляется возможным всерьез принять идею, которая несколько лет назад показалась бы дикой: что орган

языка в мозге приближается к какому-то оптимальному устройству. Для простых органических систем такие выводы представляются совершенно разумными и даже отчасти поняты. Если же окажется, что устройство совсем недавно появившегося органа, который к тому же занимает центральное место в жизни человека, приближается к оптимальному, то это можно будет истолковать как следствие функционирования физических и химических законов в отношении мозга, который каким-то неизвестным образом достиг некоторого уровня сложности. Для общей теории эволюции возникают дальнейшие вопросы, которые никоим образом не новы, но до недавнего времени находились в какой-то мере на периферии научного поиска. Тут я имею в виду труды Д'Арси Томпсона и Алана Тьюринга, двух наиболее заметных фигур современности.

Похожие концепции, к какой-то форме возникающие сейчас в изучении языка, занимали центральное место и в мысли Галилея. Изучая ускорение, писал он, «мы руководствовались... нашим прозрением характера и свойств других трудов природы, в которых природа в основном применяет лишь наименее замысловатые, самые простые и легкие из средств. Ибо я не верю, чтобы кто-то мог представить, что плавание или полет можно выполнить более простым или легким способом, нежели тот, к какому рыбы и птицы прибегают в силу природного инстинкта». В более теологическом духе, Галилей утверждал, что Бог «всегда следует легчайшим и простейшим правилам, дабы сила Его тем более проявлялась наиболее трудными путями Его». Галилей руководствовался онтологическим принципом, что «природа совершенна и пристра

и ничего не создает понапрасну», как заметил историк науки Пьетро Редонди.

Теория эволюции принимает более сложную картину. Эволюция — это «мастер на все руки», как гласит часто цитируемая фраза Франсуа Жакоба. Эволюция делает лучшее, на что способна, с помощью подручных материалов, но это лучшее порой может быть весьма прихотливым и путанным — результат зависит от этого извилистого пути эволюции, притом еще при физических ограничениях и нередко противоречивых адаптивных запросах. Тем не менее, концепция совершенства природы остается жизненно необходимым компонентом современных исследований органической природы, по крайней мере в ее простейших аспектах: сложная структура оболочек вирусов, деление клеток на сферы, проявление ряда Фибоначчи во многих явлениях природы и прочие аспекты биологического мира. Как далеко это заходит — предмет спекуляций и дебатов.

Совсем недавно эти вопросы вышли на первый план в изучении языка. Стало возможно поставить практический вопрос о «совершенстве языка»: а конкретно, спросить, насколько близко устройство человеческого языка приближается к оптимальной реализации условий, которым должна отвечать система, для того чтобы быть хоть как-то пригодной к употреблению. В той мере, в какой этот вопрос получает положительный ответ, мы обнаружили, что природа — по словам Галилея — «применила наименее замысловатые, самые простые и легкие из средств», но в такой области, где этого вряд ли можно было ожидать: очень недавний и по-видимому изолированный продукт эволюции, центральный компонент самого сложного ор-

ганического объекта из ныне известных, компонент, который точно образует ядро нашей ментальной природы, культурных достижений и достойной внимания истории.

Пожалуй, добавлю еще одно, последнее замечание по поводу границ понимания. Многие из вопросов, которые вдохновляли научную революцию Нового времени, даже не стоят на повестке дня. Среди них проблематика воли и выбора, которую помещали в центр проблемы сознания — тела до того, как ее разрушил Ньютона. Есть очень ценные работы о том, как организм исполняет план интегрированного моторного действия — как ходит таракан или как человек тянется за чашкой на столе. Но никто не поднимает вопрос о том, почему выполняется этот, а не какой-то другой план, кроме как для самых простейших организмов. Во многом это же верно даже для зрительного восприятия, которое иногда рассматривается как пассивная или рефлексивная операция. Недавно два специалиста по когнитивной неврологии опубликовали обзор достижений в решении проблемы, поставленной в 1850 г. Гельмгольцем: «Даже не двигая глазами, мы способны произвольно сфокусировать свое внимание на различных объектах, в результате чего перцептивный опыт одного и того же зрительного поля может очень различаться». Выражение «произвольно» указывает на область, лежащую за гранью серьезного эмпирического исследования. Она остается для настайной в той же мере, как для Ньютона в конце его жизни, когда он все еще искал некий «тонкий дух», который скрывается во всех телах и мог бы, без «абсурда», объяснить их свойства притяжения и отталкивания, природу и эффекты света, ощущение и то, как

«члены животных тел движутся по команде воли», — все это было тайной для Ньютона примерно в равной мере, быть может, даже лежало «за гранью нашего понимания», подобно «принципам движения».

В последние несколько лет стало стандартной практикой описывать проблему сознания как «трудную проблему», прочие, дескать, нам по зубам либо сейчас, либо в скором времени. Мне кажется, есть веские основания относиться к таким заявлениям, по крайней мере, со «смягченным скептицизмом», тем более когда мы признаем, как резко идет на убыль понимание, если пойти дальше простейших систем природы. История также взывает к осторожности. В галилеевскую эпоху «трудной проблемой» была природа движения. «Пружинящие или эластичные движения» суть «твёрдый камень философии», как заметил сэр Уильям Петти, предлагая идеи, похожие на то, что скоро будет гораздо более плодотворно разработано Ньютоном. «Трудная проблема» заключалась в том, что тела, которые представляются нашим чувствам в состоянии покоя, находятся в «буйном» состоянии с «сильным стремлением улететь или расступиться», выражаясь словами Роберта Бойля. Бойль полагал, что эта проблема столь же малопонятна, как «причина и природа» силы тяжести, что подкрепляло его веру в «разумного Автора и Располагателя Вещей». Даже скептик-ニュтонианец Вольтер доказывал, что способность людей «производить движение» там, где его не было, показывает, что «есть Бог, который придал движение» материи. Для Генри Мора, передача движения от одного тела другому была тайной всех тайн: если синий шар ударяется о красный шар, то

движение переносится, а цвет — нет, хотя и то, и другое суть качества движущегося шара.

Эти «трудные проблемы» не были решены, скорее — забыты, когда наука взяла свой более скромный пост-ньютоновский курс. Это признали ведущие историки науки. Фридрих Ланге в своей классической научной истории материализма сто лет тому назад заметил, что мы просто «приучили себя к абстрактному понятию сил, или скорее к понятию, витающему в мистической необъяснимости между абстракцией и конкретным пониманием». То был «поворотный пункт» в истории материализма, после которого учение отдалилось от «подлинных материалистов» XVII в. и лишилось немалой части своей значимости. Их «трудные проблемы» исчезли, а заметного прогресса в изучении других «трудных проблем», которые казались не менее таинственными Декарту, Ньютону, Локку и другим ведущим деятелям науки, нет, в том числе и по «свободной воле», которая является «благороднейшей вещью» из всего, что у нас есть, и которая наиболее поразительным образом проявляется в нормальном языковом употреблении — так им мыслилось, по причинам, которые нам не следует отметить без веских на то оснований.

Для некоторых из этих тайн за последние сто лет наработаны необычайные учения, величайшие достижения человеческого интеллекта. И замечательные подвиги в деле объединения тоже были. Как далеки остающиеся вершины и, собственно, где они, можно только догадываться. В пределах осуществимого исследования есть предостаточно работы, которую надо проделать для понимания ментальных аспектов мира, включая человеческий язык. И перспекти-

вы действительно захватывающие. Но при этом нам не помешало бы держать в уме вывод Юма по поводу «изначальных тайн природы» и «мрак, в котором они всегда пребывали и будут пребывать», и тем более стоит помнить, как Юм пришел к этому суждению и какое подтверждение он получил в точных науках. Как я подозреваю, об этих материях иной раз даже слишком легко забыть, и это достойно серьезного размышления — возможно, даже конструктивного научного исследования когда-нибудь.

ГЛАВА 3



ЯЗЫК И МОЗГ



Изложение заявленной темы было бы правильно выстроить вот таким образом: разобрать фундаментальные принципы языка и мозга и показать, как они могли бы быть объединены, возможно, по образцу объединения физики и химии шестьдесят пять лет назад или интеграции различных разделов биологии в единый комплекс несколькими годами позже. Но я не буду даже пытаться действовать подобным образом. Одно из того немногого, что я могу сказать по поводу этой темы хоть с какой-то уверенностью, — это то, что я слишком мало о ней знаю, чтобы правильным образом к ней подойти. С меньшей уверенностью подозреваю, что было бы справедливо сказать, что современное состояние знаний отнюдь не позволяет заложить основание для объединения наук о мозге и о высших ментальных способностях, в том числе о языке, — и что на пути к этой, по-видимому, отдаленной цели нас ждет немало сюрпризов, — что само по себе сюрпризом быть не должно, если упомянутые мною классические примеры — это и в самом деле реалистичная модель.

Эта несколько скептическая оценка текущих перспектив отличается от двух господствующих, но противоположных точек зрения. Если придерживаться первой, то скептицизм необоснован, или точнее, глубоко ошибочен, поскольку вопрос об объединении даже не возникает. Он не возникает применительно к психологии как учению о разуме, поскольку эта тема оказывается за границами биологии. Такая позиция была принята для определения «компьютерной модели разума» [1]. Применительно к языку вопрос также не возникает, ведь язык есть внечеловеческий (extra-human) объект – именно такова стандартная точка зрения в основных течениях философии мышления и языка и она же недавно была выдвинута видными деятелями неврологии и этологии. Во всяком случае, именно это вроде бы вытекает из их слов; намерения, возможно, иные. Я еще вернусь к некоторым заметным актуальным примерам.

Распространена противоположная точка зрения, что проблема объединения в самом деле возникает, но оснований для скептицизма нет. Объединение наук о мозге и когнитивных наук произойдет в ближайшей перспективе, и картезианский дуализм будет преодолен. Эта оптимистическая оценка была прямо высказана биологом-эволюционистом Э. О. Уилсоном в недавней посвященной мозгу публикации Американской академии наук и искусств, подводящей итог состоянию проблемы, и, как кажется, довольно многие эту оценку разделяют: «Исследователи ныне уверенно говорят о близости решения проблемы мозга – сознания» [2]. Похожая уверенность выражается уже полвека, в том числе в заявлениях знаменитых ученых о том, что проблема мозга – разума уже решена.

В таком случае мы можем выделить несколько точек зрения в отношении общей проблемы объединения:

- (1) Проблемы нет: язык и высшие ментальные способности вообще не относятся к биологии.
- (2) Они в принципе принадлежат к биологии, и всякий конструктивный подход к изучению человеческой мысли и ее выражения, или человеческого действия и взаимодействия, полагается на это допущение, хотя бы негласно.

Категория (2), в свою очередь, имеет два варианта: (А) до объединения уже рукой подать; (В) в настоящее время мы не видим, как эти разделы биологии относятся друг с другом, и подозреваем, что какие-то фундаментальные аспекты вообще еще не постигнуты.

Эта последняя точка зрения (2 В) представляется мне наиболее правдоподобной. Я попытаюсь указать почему, а также набросать часть той области, которую следует охватить в тщательном и исчерпывающем обзоре этих тем.

В качестве рамок для дискуссии я хотел бы избрать три тезиса, которые долгое время представлялись и представляются мне в общем разумными. Я процитирую современные формулировки ведущих ученых, но, впрочем, не свои собственные версии из прошлых лет.

Первый тезис ясно высказал невролог Вернон Маунткасл во введении к упомянутому мною исследованию Американской академии. Путеводной темой статей, вошедших в сборник, и вообще данной области исследований, по его наблюдению, является то, что «все ментальное, да собственно и разум, есть развивающиеся свойства мозга», хотя «это развитие

не считается не поддающимся дальнейшему упрощению, но производится по принципам, которые управляют взаимодействиями между событиями более низкого уровня, — по принципам, которые мы пока не понимаем».

Второй тезис методологический. Он ясно представлен этологом Марком Хаузером в его исчерпывающем исследовании «Эволюция коммуникации» [3]. Вслед за Тинбергеном, он доказывает, что при изучении «коммуникации в царстве животных, включая человеческий язык», мы должны рассмотреть проблему в четырех ракурсах. Для того чтобы понять какую-либо черту, следует:

- (1) Искать механизмы психологического или физиологического характера, которые ее осуществляют, — *механистический* ракурс.
- (2) Разобраться с генетическими и экологическими факторами, к которым тоже можно подойти на психологическом или физиологическом уровне, — *онтогенетический* ракурс.
- (3) Отыскать «укрепляющие последствия» этой черты, ее влияние на выживание и воспроизведение — *функциональный* ракурс.
- (4) Распутать «эволюционную историю вида, с тем чтобы структуру данной черты можно было оценить в свете наследственных признаков» — *филогенетический* ракурс.

Третий тезис представлен неврологом-когнитивистом К. Р. Галлистелом [4]: «модульный подход к обучению», который он принимает как «норму в неврологии в наше время». Согласно этому подходу, мозг содержит в себе «специализированные органы», которые специализируются на исчислении решений опре-

деленных типов задач, каковые они решают с великой легкостью, если не находятся в «крайне неблагоприятных средах». Рост и развитие этих специализированных органов, то, что иногда называется «обучением», есть результат направляемых изнутри процессов и влияний окружающей среды, придающих развитию начальный импульс и форму. Орган языка является одним такого рода компонентом человеческого мозга.

В общепринятой терминологии, адаптированной из прежнего словоупотребления, орган языка — это *языковая способность* (ЯС); теория начального состояния ЯС, экспрессии генов, — это *универсальная грамматика* (УГ); теории достижимых состояний — это *конкретные грамматики*; а сами состояния — это *внутренние языки*, или, коротко, просто «языки». Начальное состояние, конечно же, не проявляется при рождении, как и в случае других органов, скажем, зрительной системы.

Взглянем теперь поближе на эти три тезиса — разумных тезиса, как мне кажется, но с оговорками — начиная с первого: «все ментальное, да собственно и разум, есть развивающиеся свойства мозга».

Этот тезис широко принимается и нередко рассматривается как своеобразное увлекательное новшество нынешней эпохи, хотя все еще весьма спорное. В последние годы он выдвигался как «удивительная гипотеза», «смелое утверждение, будто бы ментальные феномены полностью естественны и обусловлены нейрофизиологической деятельностью мозга», а «способности человеческого разума на самом деле суть способности человеческого мозга»; или же как «радикально новая идея» в философии разума, которая может наконец-то разделаться с картезианским

дуализмом, хотя кое-кто по-прежнему думает, что пропасть между телом и разумом не преодолеть.

Эта картина создает неверное впечатление, и невредно понять почему. Тезис не нов, и спорным быть не должен по причинам, которые стали понятны столетия тому назад. Он был ясно выражен еще в XVIII в., и на то были веские причины — хотя тогда это вызывало споры из-за оскорблении религиозных учений. К 1750 г. Дэвид Юм непринужденно описывал мышление как «незначительные колебания мозга» [5]. Спустя несколько лет этот тезис развил знаменитый химик Джозеф Пристли: «Силы ощущения или восприятия и мысли» суть свойства «материи, организованной в некоторую систему»; свойства, «понимаемые под термином „ментальный“», есть «продукт органической структуры» мозга и вообще «человеческой нервной системы». Эквивалентно будет сказать: «Все ментальное, да собственно и разум, есть развивающиеся свойства мозга» (Маунткасл). Пристли, конечно же, не мог сказать, как происходит это развитие, да и у нас после этих двухсот лет тоже получится не намного лучше.

Я думаю, когнитивные науки и науки о мозге могут извлечь кое-какие полезные уроки из подъема тезиса о развивающихся свойствах мозга в науке Нового времени и из того, какими путями шло развитие естественных наук с тех пор вплоть до самой середины XX в., до объединения физики-химии-биологии. Современные споры по поводу разума и мозга поразительно похожи на дебаты по поводу атомов, молекул, химических структур и реакций и прочих относящихся сюда материй, которые были вполне живы еще

и в XX в. Похожи и, как мне кажется, поучительным образом.

Причины возникновения недавно возрожденного тезиса XVIII в. о развитии были и в самом деле вескими. Научная революция Нового времени, начиная от Галилея, была основана на тезисе, что мир есть большая машина, какую в принципе мог бы сконструировать мастер-ремесленник, подобно сложному варианту часов и иных хитроумных автоматов, которые завораживали XVII и XVIII вв. во многом так же, как в последние годы компьютеры дают стимул для мысли и воображения; перемена артефактов имеет лишь ограниченные следствия для базовых вопросов, как шестьдесят лет назад продемонстрировал Алан Тьюринг. Этот тезис, называемый «механистической философией», имеет два аспекта: эмпирический и методологический. Факторологический тезис касается природы мира: мир — это машина, сконструированная из взаимодействующих частей. Методологический тезис касается понимаемости: истинное понимание требует механической модели, устройства, какое смог бы сконструировать ремесленник.

Галилеевская модель понимаемости имеет одно следствие: когда отказывает механизм, отказывает понимание. По этой причине, когда Галилей упал духом из-за явных недостатков механического объяснения, он в конце концов заключил, что люди никогда в полной мере не поймут «ни единого эффекта в природе». Декарт, в противоположность Галилею, был гораздо оптимистичнее. Он думал, что сможет продемонстрировать, что большинство явлений природы можно объяснить в механических терминах: неорганический и органический мир, кроме людей, но также в зна-

чительной мере и физиологию человека, его ощущения, восприятие и действия. Пределы механического объяснения достигались тогда, когда эти человеческие функции опосредовались мышлением, уникальным наследием человека, основанным на принципе, который ускользает от механического объяснения: «к创ативный» принцип, лежащий в основе актовволи и выбора, которые суть «самое благородное, что у нас может быть», и единственное, что нам «подлинно принадлежит» (в картезианских терминах). Люди лишь «побуждаемы и склонны» действовать определенным образом, но они не действуют «вынужденно» (или случайно), и в этом отношении они не похожи на машины, т. е. на весь остальной мир. Самым поразительным примером для картезианцев было нормальное употребление языка: люди способны выражать свои мысли всеми бесчисленными способами, которые ограничиваются телесным состоянием, но не определяются им, соответствуют тем или иным ситуациям, но не обуславливаются ими, и вызывают в других мысли, которые они могли бы выразить похожими способами, — словом то, что мы бы назвали «к创ативным аспектом использования языка».

Стоит иметь в виду, что, насколько нам известно, эти выводы правильны.

В этих терминах ученые-картизианцы выработали экспериментальные процедуры для определения того, имеет ли какое-то другое существо разум вроде нашего, — замысловатые варианты того, что в последние полвека возродилось в виде теста Тьюринга, хотя и без принципиально важных ложных выводов, которыми сопровождалось это возрождение, вопреки ясно выраженным предостережениям Тьюринга — те-

ма интересная, но я ее оставлю в стороне [6]. В тех же самых терминах Декарт смог сформулировать относительно четкую проблему сознания — тела: установив два принципа устройства природы — механический и ментальный, — мы можем спросить, как они взаимодействуют, — это серьезная проблема для науки XVII в. Но прожила эта проблема недолго. Как известно, вся картина рассыпалась, когда Ньютона, к великому ужасу своему, установил, что не только сознание ускользает, оказывается вне досягаемости механистической философии, но и все прочее в природе тоже, даже простейшее земное и планетарное движение. Как указал Александр Койре, один из основателей современной истории науки, Ньютон продемонстрировал, что «чисто материалистическая или механистическая физика невозможна» [7]. Соответственно, естественный мир не отвечает норме понимаемости, которая воодушевляла научную революцию Нового времени. Мы должны принять «допущение непонятных и необъяснимых „фактов“, навязываемых нам эмпиризмом, в корпус научного знания», как ставит этот вопрос Койре.

Ньютон считал свое опровержение механицизма «абсурдом», но обойти его не мог, несмотря на немалые усилия. Не смогли и величайшие ученые его времени, да и поныне. Позднейшие открытия привнесли еще больше «абсурда». Ничто не умалило силы суждения Дэвида Юма, что, опровергнув самоочевидную механистическую философию, Ньютон «возвратил изначальные тайны [природы] в тот мрак, в котором они всегда пребывали и будут пребывать» *.

* Цит. по рус. пер.: Юм Д. Сочинения: В 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1965. С. 848. — Прим. перев.

Сто лет спустя, в своей классической истории материализма, Фридрих Ланге указал, что Ньютон фактически разрушил материалистическое учение вместе с нормами понимаемости и основанными на них ожиданиями: с тех пор ученые «приучили себя к абстрактному понятию сил, или скорее к понятию, витающему в мистической неясности между абстракцией и конкретным пониманием». Это был «поворотный пункт» в истории материализма, когда уцелевшие остатки учения были далеко отброшены от учений «подлинных материалистов» и лишились немалой части своей значимости.

Как методологический, так и эмпирический тезисы рассыпались и уже никогда больше не воспроизвелись.

С методологической стороны, нормы понимаемости были заметно ослаблены. От норм, которыми вдохновлялась научная революция Нового времени, стали отходить: целью стала понимаемость теорий, а не мира — разница значительная, она вполне может приводить в действие совсем другие способности разума, это еще, возможно, когда-нибудь будет темой для когнитивной науки. Как сформулировал вопрос ведущий специалист по Ньютону И. Бернард Коэн, эти перемены «явились изложением нового понимания науки», при котором целью становится — «не искаать конечных объяснений», укорененных в принципах, которые нам представляются самоочевидными, но найти самое лучшее теоретическое объяснение, которое только сможем, для экспериментальных и опытных феноменов. Вообще же, соответствие пониманию, которое подсказывает здравый смысл, не есть критерий для рационального исследования.

С фактической стороны больше не было никакой концепции тела, или материи, или «физического». Есть просто мир, с его различными аспектами: механическим, электромагнитным, химическим, оптическим, органическим, ментальным – категориями, которые не определяются и не разграничиваются априорно, но выделяются, самое большее, ради удобства: никто не спрашивает, относится ли жизнь к химии или к биологии, кроме как ради временного удобства. В каждой из смещающихся областей конструктивного научного поиска можно попробовать выработать понятные объяснительные теории и объединить их, но не более того.

Новые границы научного поиска были поняты учеными-практиками. Химик XVIII в. Джозеф Блэк заметил, что «химическая связь должна быть принята как первый принцип, объяснить который мы можем не более, чем Ньютон мог объяснить гравитацию, а объяснение законов связи пусть будет отложено до тех пор, пока мы не выстроим учение в таком объеме, в каком его выстроил Ньютон в отношении законов гравитации». В общем-то, так и случилось. Химия стала выстраивать добротное учение; «ее триумфы не [были] воздвигнуты на каком-то редукционистском основании, но скорее достигнуты в изоляции от переживающей новое становление науки физики», как замечает ведущий историк химии [8]. На самом деле никакого редукционистского фундамента так и не было обнаружено. Линус Полинг шестьдесят пять лет назад осуществил объединение, а не редукцию. Физика должна была претерпеть фундаментальные изменения для того, чтобы объединиться с базовой химией, порвав еще более радикальным образом с подсказан-

ными здравым смыслом понятиями «физического»: физика должна была «освободить себя» от «интуитивных картинок» и оставить надежду «визуализировать мир», по выражению Гейзенберга [9]. Это еще один скачок прочь от понятности в смысле научной революции XVII в.

Научная революция Нового времени также совершила то, что мы с полным основанием можем назвать «первой когнитивной революцией» — а может, и единственной фазой в истории когнитивных наук, достойной называться «революцией». Картезианский механизм заложил фундамент того, что впоследствии стало нейрофизиологией. Мыслители XVII и XVIII вв. также выработали богатые и поучительные идеи о восприятии, языке и мысли, которые заново открываются и поныне, иногда лишь частично. Не имея никакой концепции тела, психология могла тогда — и сегодня может — только лишь следовать путем химии. Безотносительно к ее теологическому обрамлению, на самом деле нет альтернативы осторожной догадке Джона Локка, которая позднее стала известна как «предположение Локка»: Бог мог предусмотреть «придать материи способность мышления» так же, как Он «присоединил к движению такие эффекты, способным на производство каковых мы движение помыслить никоим образом не можем», — в том числе свойство притяжения на расстоянии, новое оживление оккультных качеств, как доказывали многие ведущие естествоиспытатели (при частичном согласии Ньютона).

В этом контексте фактически невозможно уйти от тезиса о развитии в различных формах:

Для XVIII в.: «силы ощущения или восприятия и мысли» суть свойства «некоторой организованной материальной системы»; свойства, «понимаемые под термином „ментальный“», есть «продукт органической структуры» мозга и вообще «человеческой нервной системы».

Столетие спустя Дарвин задал риторический вопрос: отчего бы это «мысль, будучи секрецией мозга», должна считаться «более чудесной, нежели сила тяжести – свойство материи?» [10]

Сегодня изучение мозга основывается на тезисе о том, что «все ментальное, да собственно и разум, есть развивающиеся свойства мозга».

Повсюду тезис, в сущности, тот же, и спорным он быть не должен: трудно представить себе какую-то альтернативу в пост-ニュтонасовском мире.

Максимум, что может сделать ученый-практик, – это попытаться сконструировать «учение» для различных аспектов мира и стремиться объединить их, признавая, что мир не постижим для нас способами, хоть сколько-нибудь похожими на тот способ, с которым связывали свои надежды пионеры науки Нового времени, и что целью является объединение, а не обязательно упрощение. Как явствует из истории наук, никогда нельзя угадать, какие сюрпризы поджидают впереди.

Важно признать, что картезианский дуализм был разумным научным тезисом, но этот тезис исчез три века назад. С тех пор проблемы сознания – тела нет и дебатировать не о чем. Тезис исчез не из-за недостатков картезианской концепции сознания, а оттого, что с крушением механистической философии Ньютоном рассыпалась концепция тела. Сегодня обычное дело

высмеивать «заблуждение Декарта», состоявшее в постулировании разума, этот его «дух в машине». Но это неверное понимание того, что произошло: Ньютон изгнал машину; дух остался невредимым. Два современных физика, Пол Дэвис и Джон Гриббин, завершают свою недавнюю книгу «Миф о материи» (*The Matter Myth*) указанием на этот самый момент, хотя авторство уничтожения машины они приписывают неверно — новой квантовой физике. Верно, что та явилась дополнительным ударом, однако «миф о материи» и без того был сломан за 250 лет до описываемых в книге событий, и этот факт в то время хорошо понимали работающие ученые, а с тех пор он стал частью стандартной истории наук. Эти вопросы, по-моему, заслуживают определенных размышлений.

А для омолодившейся когнитивной науки XX в., как мне кажется, полезно будет также уделить пристальное внимание тому, что последовало за объединением практически не менявшейся химии с радикально пересмотренной физикой в 1930-х гг., и тому, что предшествовало объединению. Наиболее драматичным из последовавших событий стало объединение биологии и химии. Это был случай подлинной редукции, но редукции к заново созданной физической химии; действующие лица отчасти были те же самые, в частности Полинг. Эта подлинная редукция иногда приводит к самоуверенным ожиданиям того, что ментальные аспекты мира тоже будут сведены к чему-то вроде современных наук о мозге. Может будут, а может и нет. Как бы там ни было, история наук дает не много оснований для самонадеянных ожиданий. Истинная редукция не характерна для истории

наук и не надо ее автоматически считать моделью того, что будет происходить в будущем.

Еще более поучительно то, что имело место непосредственно перед объединением химии и физики. До объединения ведущие ученые часто доказывали, что химия — это просто вычислительный прием, способ упорядочивания результатов химических реакций, иногда дающий возможность их прогнозировать. В начале прошлого века так же рассматривались молекулы. Пуанкаре высмеивал представление о том, что молекулярная теория газов есть нечто большее, нежели просто способ вычислений; люди, говорил он, впадают в это заблуждение лишь потому, что не знакомы с игрой в бильярд. Доказывали, что химия — это не про что-то реальное: а все потому, что никто не знал, как свести ее к физике. Еще в 1929 г. Берtrand Рассел, — который хорошо знал естественные науки, — указывал, что химические законы «в настоящее время нельзя свести к физическим законам» [11]. Это заявление не было ложным, но в одном важном отношении способно ввести в заблуждение. Как оказалось, неуместно выражение «в настоящее время». А редукция, как вскоре обнаружилось, была невозможна до тех пор, пока концепция физической природы и физического закона не была (радикально) пересмотрена.

Сейчас должно быть ясно, что дебаты по поводу реальности химии были основаны на принципиальном недоразумении. Химия была и «реальной» и про «реальный мир» в единственном смысле этих понятий, какой мы имеем: она являлась частью наилучшей концепции работы мира, какую способен измыслить человеческий интеллект. И лучше выдумать невозможно.

Отзвуки дебатов по поводу химии, прошедших несколько лет назад, слышатся в философии разума и когнитивной науке сегодня, — а ведь теоретическая химия — это, конечно же, точная наука, неразличимо сливающаяся с основными положениями физики; она не находится на периферии научного понимания, как когнитивные науки и науки о мозге, пытающиеся изучать системы, сложность которых намного выше, а понимание гораздо слабее. Эти совсем недавние дебаты по поводу химии и их неожиданный исход должны стать поучительными для когнитивных наук и наук о мозге. Они указывают, что ошибочно помышлять о компьютерных моделях разума, существующих отдельно от биологии, т. е. в принципе не подверженных никаким изменениям, какие бы открытия ни были сделаны в биологических науках, или же о платонистских и иных небиологических концепциях языка, также огражденных, себе в ущерб, от важных доказательств, а равно и утверждать, что отношение ментального к физическому — это не сводимость, но более слабое понятие *следования* (*supervenience*): всякое изменение в ментальных событиях или состояниях влечет за собой «физическое изменение», но не наоборот, и ничего более конкретного сказать нельзя. Дебаты вокруг химии до ее объединения с физикой можно было бы перефразировать: те, кто отрицал реальность химии, могли бы утверждать, что химические свойства следуют за физическими свойствами, но не сводятся к ним. Это было бы заблуждением: тогда еще не открыли требуемые для объединения физические свойства. Когда их открыли, разговоры о следовании стали излишними, и мы подходим к объ-

единению. Такая же позиция кажется мне разумной и при изучении ментальных аспектов мира.

Вообще, мне кажется осмысленным следовать добруму совету постньютонианских ученых, да, собственно, и самого Ньютона, и стремиться «выстроить» учение в таких терминах, в каких сможем, не сковывая себя интуицией, подсказанной здравым смыслом, по поводу того, каким должен быть мир, — мы знаем, что он *не* такой, — и не тревожась из-за того, что нам, возможно, придется «отложить объяснение принципов» в терминах общего научного понимания, которое может оказаться неадекватным задаче объединения, как регулярно случалось за последние триста лет. Немалая часть дискуссий по этим темам мне представляется непродуманной, может быть, даже серьезно непродуманными, по причинам именно такого свойства.

Стоит вспомнить и о других сходствах между химией до объединения с физикой и нынешней когнитивной наукой. «Триумфы химии» обеспечили ценные ориентиры для итоговой реконструкции физики: они обеспечили условия, которым должны были удовлетворять основные положения физики. Похожим образом, открытия относительно коммуникации пчел обеспечивают условия, которым должно будет удовлетворять какое-то грядущее объяснение в терминах клеток. В обоих случаях, это улица с двусторонним движением: открытия физики задают ограничения для возможных химических моделей, а открытия фундаментальной биологии должны задавать ограничения для моделей поведения насекомых.

В науках о мозге и когнитивных науках есть знакомые аналоги: вопрос о вычислительных и алгоритмических теориях и теориях реализации, который,

к примеру, подчеркивал Дэвид Марр. Или работы Эрика Кэндела по обучению у морских улиток, где была предпринята попытка «перевести в термины нейронов идеи, предложенные на абстрактном уровне экспериментальными психологами», и тем самым показать, как когнитивная психология и нейробиология «могут начать конвергенцию, которая бы дала новую перспективу в изучении процесса обучения» [12]. Очень разумно, правда, реальный ход развития наук должен был бы подготовить нас к возможности того, что конвергенции может не произойти, потому что где-то чего-то не хватает, — а где именно, — этого мы не будем знать, пока не обнаружим это.

До сих пор я говорил о первом из трех тезисов, которые упомянул вначале: о руководящем принципе, что «все ментальное, да собственно и разум, есть развивающиеся свойства мозга». Он кажется корректным, но близким к трюизму, по причинам, которые были поняты Дарвином и именитыми учеными столетие спустя и которые следовали из Ньютона открытия «абсурда», который, тем не менее, существует.

Обратимся теперь ко второму из них: к методологическому тезису, процитированному из «Эволюции коммуникации» Марка Хаузера: для того чтобы объяснить какую-то черту, мы должны принять этологический подход Тинбергена с его четырьмя базовыми перспективами: (1) механизмы, (2) онтогенез, (3) укрепляющие последствия, (4) эволюционная история.

Для Хаузера, как и для других, «святым Граалем» является человеческий язык: целью является — показать, как его можно понять, если мы исследуем его с этих четырех точек зрения, и только так. То же

должно быть верно для намного более простых систем: «язык танца» медоносной пчелы, если подобрать тот единственный пример в животном мире, который, согласно стандартным (хотя и не бесспорным) версиям, как будто имеет, по крайней мере, поверхностное сходство с человеческим языком: неограниченную область применения и свойство «смещенной референции» — способность сообщать информацию о чем-то вне сенсорного поля. Мозг у пчелы размером с травяное семя, менее миллиона нейронов; есть родственные виды, которые отличаются способом коммуникации; никаких ограничений на эксперименты с хирургическим вмешательством нет. И все же базовые вопросы остаются без ответа: в особенности вопросы по поводу физиологии и эволюции.

В своем обзоре этой темы Хаузер не обсуждает механизмы, а немногие высказанные предположения представляются несколько экзотическими; к примеру, теория математика и биолога Барбары Шипман о том, что танец пчелы основан на способности отобразить некоторое шестимерное топологическое пространство в трехмерное, может быть, с помощью какого-то «детектора кварков» [13]. Относительно эволюции у Хаузера лишь несколько фраз, в которых проблема по существу только формулируется. То же верно и для других случаев, которые он рассматривает. Например, в отношении певчих птиц, этого «главного достижения эволюционных исследований», несмотря на то, что нет никакого «убедительного сценария» селекции — впрочем, похоже, даже и неубедительного.

Поэтому нас вряд ли должно удивлять, что в несравнимо более сложном случае — когда речь идет

о человеческом языке, вопросы по поводу физиологических механизмов и филогенеза остаются загадкой.

При более пристальном взгляде на исследование Хаузера проявляются некоторые указания на отдаленность цели, поставленной им и другими учеными, — достойной цели, но нам надо реалистичнее оценивать, как далеко мы отстоим от нее. Во-первых, само название книги способно ввести в заблуждение: она совсем не про эволюцию коммуникации — эта тема упоминается лишь вскользь. Скорее, это сравнительное исследование коммуникации разных биологических видов. На это ясно указывают комментарии Дерека Бикертона в его рецензии в журнале «Nature», которые цитируются на супербложке; а также последняя глава книги с размышлениями о «направлениях будущих исследований». Эта глава озаглавлена «Сравнительная коммуникация», что реалистично; размышлений об эволюции, это совсем другое дело, там мало. Вообще говоря, то, что Хаузер и другие представляют как свидетельство естественного отбора, на деле оказывается описанием прекрасного приспособления организма к его экологической нише. Факты часто занимательные и наводят на размышления, но они не составляют истории эволюции: скорее, они формулируют задачу, которую исследователи эволюции должны решить.

Во-вторых, Хаузер указывает, что такое всеобъемлющее сравнительное исследование коммуникации «не имеет отношения к формальному изучению языка» (как мне кажется, замечание утрированное). Это немаловажный момент: то, что Хаузер называет «формальным изучением языка», включает в себя психологические аспекты первых ракурсов этологического

подхода: (1) механизмы языка и (2) их онтогенез. А что не имеет отношения к психологическим аспектам, то не имеет отношения и к физиологическим аспектам, поскольку все, что как-то касается физиологических аспектов, выдвигает определенные условия и в отношении психологических аспектов. Соответственно, первые две перспективы рекомендуемого подхода Тинбергена фактически оказываются отринуты применительно к человеческому языку. Похожим причинам, можно сказать, что сравнительное исследование, в том же самом смысле, «не имеет отношения» к современным изысканиям по коммуникации пчел, которые во многом представляют собой изобилиующую подробностями разновидность «дескриптивной лингвистики». Этот вывод представляется правдоподобным: удалось много чего узнать о конкретных видах на описательном уровне — о насекомых, птицах, низших обезьянах и др. Но мало что выяснилось в плане каких-то общих закономерностей.

Эта «несущественность» для человеческого языка, впрочем, куда более глубокая. Причина, как замечает и Хаузер, заключается в том, что язык не считается системой коммуникации в собственном смысле слова. Это система для выражения мыслей, т. е. нечто совсем другое. Ее, конечно же, можно использовать для коммуникации, как всё, что делают люди, — манеру ходьбы либо стиль одежды или прически, например. Но коммуникация ни в каком подходящем смысле этого термина не является главной функцией языка и, возможно, даже не несет в себе какой-то уникальной значимости для понимания его функций и природы. Хаузер приводит остроумное замечание Сомерсета Моэма, что «если бы никто не разговаривал, когда

сказать нечего... то род людской очень быстро утра-тил бы дар речи». Суть дела он вроде бы уловил вполне точно, даже если оставить в стороне тот факт, что употребление языка по большей части направлено на себя: «внутренняя речь» в случае взрослых, моно-лог в случае детей. Более того, каковы бы ни были достоинства догадок по поводу процессов естествен-ного отбора, которые, может быть, сформировали, а может и не сформировали человеческий язык, они никаким принципиальным образом не зависят от ве-ры в то, что система является продуктом какого-то способа коммуникации. Можно придумать столь же достойные (т. е. столь же бессмысленные) сказки про преимущества, сообщаемые серией малых мутаций, облегчивших планирование и прояснение мыслей; быть может, это даже менее фантастично, поскольку не нужно предполагать, что мутации в группе про-исходили параллельно — и не то чтобы я предлагал эту или другую историю. Есть богатая хроника не-счастных судеб очень правдоподобных историй про то, что могло произойти, после того, как нечто ста-ло известно о том, что действительно произошло, — и в случаях, где понятно куда больше.

В этой же связи примечательно, что человеческий язык даже не фигурирует в «таксономии комму-никативной информации» Хаузера (спаривание, вы-живание, опознание сигнализирующего). Язык, ко-нечно, можно использовать для сигналов тревоги, идентификации говорящего и т. д., но изучать функ-ционирование языка в этих терминах — значит безна-дежно отклониться от темы.

Еще одна трудность заключается в том, что Хаузер сужает функциональную перспективу до «адаптивных

решений». Это резко ограничивает изучение эволюции, как подчеркивал Дарвин, и что теперь стало намного понятнее. В действительности, Хаузер приводит один случай за другим, где те или иные черты не имеют адаптивной функции. Так он утверждает — ведь эти черты проявляются только в искусственно созданных ситуациях, не имеющих аналога в природе.

Эти материи почти не обсуждаются; то, на что я ссылаюсь, — разрозненные замечания, буквально по одному предложению тут и там. Но они указывают на то, сколь огромны пробелы, над которыми мы должны задуматься, если мы принимаем этологическую перспективу всерьез — как нам, конечно же, следует поступить, я в это верю и доказываю это уже сорок лет [14]. Рассуждения Хаузера по поводу каких-то будущих изысканий в области эволюции человеческого языка подчеркивают, какая это загадка. Он ссылается на две знакомые базовые проблемы: необходимо объяснить (1) мощнейший лексический взрыв и (2) рекурсивную систему для порождения бесконечного множества различных осмысленных высказываний. По пункту (2) никаких предположений не высказывается. Что до пункта (1), то здесь Хаузер сообщает, что никаких аналогов в животном царстве нет, включая сюда и его собственную область специализации (приматы, за исключением человека). Он замечает, что предварительным условием для лексического взрыва является природная человеческая способность к подражанию, которую он находит фундаментально отличной от всего, что есть в животном мире, возможно, чем-то и вовсе уникальным. Ему удалось найти лишь одно возможное исключение: человекообразные обезьяны, которых специально обучали.

Вывод Хаузера таков: «Для приведения в действие способности к подражанию у человекообразных обезьян требуются определенные свойства человеческой среды». Если этот вывод верен, то он как будто подразумевает, что способность к подражанию не есть результат адаптивного отбора, которым, как настаивает сам Хаузер и другие, мы должны ограничиться при изучении эволюции. Что же до происхождения человеческой способности к подражанию, тут Хаузер указывает, что мы не знаем ничего и, может быть, вообще никогда не узнаем, когда она возникла в эволюции гоминид и, если уж на то пошло, — как.

Кроме того, подобно многим другим, Хаузер серьезно недооценивает то, как употребление слов людьми для осуществления референции отличается в своих сущностных структурных и функциональных свойствах от редких примеров «референтных сигналов» у других видов, в том числе у некоторых обезьян (возможно, у некоторых человекообразных обезьян, хотя, как говорит Хаузер, данные несколько неопределенные). Вопрос заходит гораздо дальше проблем смешенной и ситуативно-свободной референции. И еще Хаузер серьезно преувеличивает значение того, что удалось продемонстрировать. Так, приводя несколько осторожных предположений Дарвина, он пишет, что «мы, таким образом, извлекаем два важных урока» по поводу «эволюции человеческого языка»: что «структуре и функции человеческого языка можно объяснить естественным отбором» и что «самым очевидным промежуточным звеном между формами коммуникации у людей и животных является способность выразить эмоциональное состояние». Похожим образом Стивен Пинкер «демонстрирует, как дарвинист-

ское объяснение эволюции языка оказывается единственным возможным объяснением... поскольку естественный отбор является единственным механизмом, способным объяснить сложные особенности устройства такого характерного свойства, как язык» (курсив мой). Было бы замечательно, если бы по поводу эволюции человеческого языка удалось «продемонстрировать» хоть что-нибудь, тем более то, что подразумевается в куда более амбициозном приведенном утверждении; или если бы мы могли «извлечь» что-то значимое из спекуляций на эту тему. Конечно, ничего столь удивительного не случилось. Осторожные спекуляции и самоуверенные заявления ничего не демонстрируют, и самое большее, что мы можем из них извлечь, — это то, что, возможно, существует некий путь, которым имеет смысл следовать. Возможно.

Оставляя это в стороне, выводы, истинность которых вроде бы доказана, не представляются особенно осмыслившими, разве что при снисходительном прочтении; ведь вряд ли кто не согласится с тем, что естественный отбор оперирует в пространстве выбора, детерминированном законами природы (а также возможными историко-экологическими обстоятельствами), и было бы чистейшим догматизмом выступать с априорными прокламациями о роли этих факторов в том, что происходит. Это верно независимо от того, рассматриваем ли мы проявление рядов Фибоначчи в природе или человеческий язык, или еще что-то в биологическом мире. Что удалось «продемонстрировать» или «убедительно аргументировать», так это то, что естественный отбор без колебаний принимается как основной фактор в эволюции, что доказывал Дарвин и никто (в кругах, позицию которых рассмат-

ридает Хаузер) даже не пытается поставить это под сомнение. Почему он решил, что я (или еще кто-то) настаиваю, будто «теория естественного отбора не может объяснить особенности устройства человеческого языка», он не говорит (и это явно неправда при снисходительном прочтении, необходимом для того, чтобы придать его заявлению хоть какой-то смысл). Помимо повсеместно разделяемых допущений по поводу естественного отбора и прочих механизмов эволюции, нужно еще пытаться выяснить, что именно произошло, будь то при изучении глаза, шеи жирафа, костей среднего уха, зрительных систем млекопитающих, человеческого языка или чего-то еще. Уверенные заявления не следует смешивать с доказательством или даже с убедительной аргументацией.

Хотя Хаузер, наверное, станет это отрицать, мне лично кажется, что, если приглядеться, его выводы, собственно, не так уж сильно отличаются от крайнего скептицизма его гарвардского коллеги, биолога-эволюциониста Ричарда Левонтина, который приходит к заключению — и очень твердому заключению, — что эволюция познания попросту недосягаема для современной науки [15].

Отдаленность заявленных целей приводит к ряду предложений, которые мне кажутся странными: например, о «видимой взаимосвязи эволюции человеческого мозга, голосового тракта и языка» для целей речевой коммуникации. Понятие взаимосвязанной эволюции языка и мозга Хаузер заимствует у специалиста по неврологии Терренса Дикона [16]. Дикон доказывает, что изучающие язык и его онтогенез — первые два ракурса этологического подхода — делают серьезную ошибку, когда принимают стандартный подход

неврологии: стремиться открыть генетически детерминированный компонент сознания — мозга и изменения его состояния в процессе взросления и накопления опыта. Они упускают из виду более перспективную альтернативу: что «дополнительная поддержка для усвоения языка», сверх данных опыта, «заключена не в мозгу ребенка и не в мозгах родителей или учителей, но вне мозгов, в самом языке». Конкретный язык и языки вообще — это внечеловеческие существа с замечательной «способностью... эволюционировать и адаптироваться по отношению к хозяевам — людям». Эти существа пребывают не только вне человека, но как будто и вовсе за пределами биологического мира.

Что это за странные существа такие и откуда они взялись? Что они представляют собой, остается невысказанным, за исключением того, что они развили в себе свойства языка, которые ошибочно приписываются мозгу. Происхождение их не менее загадочно, правда, когда они уже каким-то образом появились, «языки мира стали эволюционировать спонтанно», путем естественного отбора, «всплеском адаптаций», которые «проходили *вне* человеческого мозга». Так они становились «все лучше и лучше адаптированными к людям» — как паразиты и хозяева, или, может быть, как жертва и хищник в знакомом цикле взаимосвязанной эволюции; или, может быть, наилучшую аналогию, как указывает Дикон, дают вирусы. Кроме того, мы выводим объяснение языковых универсалий: они «возникли спонтанно и независимо в каждом эволюционирующем языке... Они — конвергентные признаки эволюции языка», как спинные плавники у акул и дельфинов. Развившись спонтанно и приоб-

ретя универсальные свойства языка путем стремительного естественного отбора, одно из этих внечеловеческих существ прикрепилось к моей внучке в Новой Англии, а другое — к моей внучке в Никарагуа — она и вовсе заражена сразу двумя из этих загадочных вирусов. Ошибкой будет стремиться найти какое-то объяснение последствиям этого и всех прочих случаев путем исследования взаимовлияния опыта и природной структуры мозга; скорее уж, нужные паразиты прикрепляются к хозяевам в конкретном сообществе неким мистическим образом — такой вот «фокус», если заимствовать термин Дикона для обыкновенных допущений натуралистической науки, — и вот так у них появляется знание конкретных языков.

Дикон, конечно же, согласен с тем, что младенцы «предрасположены изучать человеческие языки» и «демонстрируют сильные предпочтения в своем выборе правил, лежащих в основе языка», усваивая за несколько лет «чрезвычайно сложную систему правил и богатый словарный запас» в то время, когда они не могут даже выучить элементарную арифметику. Так что «в человеческом мозге есть нечто особенное, что позволяет нам с легкостью делать то, что никакие другие виды не могут сделать даже в минимальной степени без напряженных усилий и замечательно продуманного обучения». Но все же будет ошибкой подходить к этим предрасположенностям и особым структурам так же, как мы подходим к другим аспектам природы — к зрительным анализаторам, например; ведь никто не выступает с гипотезой, что органы зрения насекомых и млекопитающих развились спонтанно путем стремительного естественного отбора и теперь прикрепляются к хозяевам, производя в результате

зрительные способности пчел и обезьян; или что виляющий танец пчел и выкрики мартышек-верветок — это внешние для организма паразиты, которые развились вместе с ним, чтобы обеспечить какие-то способности для хозяина. Но в особом случае человеческого языка мы не будем следовать нормальным путем естественных наук и стремиться определить природу «предрасположенностей» и «особых структур» и то, как они реализованы в механизмах мозга (ведь тогда внеорганические сущности, которые эволюционировали вместе с языком, исчезнут со сцены).

Поскольку в этом уникальном случае развились внеорганические «вирусы», которые прикрепляются к хозяевам именно так, как надо, мы можем не приписывать ребенку ничего, кроме «общей теории учения». Это мы откроем для себя, как только преодолеем удивительную неспособность лингвистов и психологов признать, что языки мира — более того, даже возможные языки, на которых пока еще никто не говорит, — могли спонтанно развиться вне мозга и путем естественного отбора стать «воплощением предрасположенностей детского сознания».

Я думаю, в одном смысле предложения Дикона на верном пути. Идею о том, что ребенку для овладения языком и другими когнитивными состояниями не нужно ничего, кроме «общей теории учения», можно принять только с помощью совсем уж героических ходов. Это — основной смысл третьего из рамочных тезисов, которые я ввел вначале, и к нему мы вернемся прямо сейчас. Во многом тот же вывод можно продемонстрировать на примере необычайно богатых подробностями допущений о природной модульной системе, заложенных в основание попыток реализовать

то, что часто выдают за неструктурированные общие теории учения, и не менее необычайных допущений по поводу природной структуры, встроенных в подходы, основанные на спекулятивных эволюционных сценариях, которые в явной форме исходят из существования ярко выраженной модульности системы [17].

Единственная реальная проблема, доказывает Ди-кон, — это «символическая референция». Все остальное как-то встанет на свои места, если это мы сможем объяснить в эволюционных терминах. Как остальное встанет на свои места, — не обсуждается. Но, быть может, это и неважно, поскольку «символическая референция» тоже остается полной тайной, отчасти из-за того, что никому не удается заняться ее наиболее элементарными свойствами в человеческом языке.

Я привожу цитаты, потому что понятия не имею, что все это значит. И пониманию нисколько не способствует неузнаваемая трактовка «лингвистики» (в том числе взглядов, приписываемых мне) со столь неясными аллюзиями, что часто даже трудно догадаться, что могло стать источником непонимания (иногда легко; например, неверное понимание терминологии, используемой в специальном смысле, такой как «компетенция»). Каков бы ни был смысл, вывод, по всей видимости, заключается в том, что ошибочно исследовать мозг ради открытия природы человеческого языка; скорее, язык надо исследовать на предмет вне-биологических сущностей, которые эволюционировали вместе с людьми и каким-то образом «пристраивают» к ним. Эти предложения получили признание ведущих эволюционных психологов и биологов, но почему, я не понимаю. Если принимать их хоть сколько-нибудь серьезно, то, по всей видимости, они

лишь придают стандартным проблемам науки форму абсолютнейших загадок, помещают их за грань всякой надежды на понимание и одновременно исключают процедуры рационального исследования, которые принимаются как должное уже сотни лет.

Возвращаясь к методологическому тезису о том, что мы должны принять этологический подход, надо сказать, что он в принципе вполне разумен, но то, как его развивают, вызывает много вопросов. Насколько я могу понять, возобновление призыва следовать этому подходу, за что выступали сорок лет назад авторы работ по «поведенческим наукам», ничего не меняет, так что мы остаемся примерно там же, где и были. Мы можем изучать генетически детерминированный компонент мозга — а может и чего-то большего, чем мозг, — выделенный под структуру и использование языка, можем изучать состояния, которых он достигает (различные языки), и еще мы можем исследовать процесс, посредством которого происходят изменения состояний (усвоение языка). Мы можем попытаться открыть психологические и физиологические механизмы и принципы и объединить их — стандартные проблемы науки. Эти изыскания составляют первые два ракурса этологического подхода: изучение механизмов и онтогенез. Обращаясь к третьему ракурсу, к функциональному ракурсу, мы можем исследовать использование языка человеком, который достиг какого-то конкретного состояния этой способности, хотя если при этом рассматривать только следствия для выживания и воспроизведения, то это ограничение будет чересчур жестким, чтобы можно было надеяться многое понять в языке. Четвертый ракурс — филогенез — представляется, в лучшем слу-

чае, весьма отдаленным, и сравнительное изучение коммуникации – нечто совершенно иное и вроде бы мало способствует его продвижению.

Обратимся, наконец, к третьему тезису, который я упоминал, цитируя Галлистела: к предметному тезису о том, что у всех животных учение основано на специализированных механизмах, «инстинктах учиться» некими конкретными способами; то, что Тинберген называл «природными склонностями к учению» [18]. Эти «механизмы учения» можно считать «органами внутри мозга, представляющими собой нервные цепи, структура которых позволяет им выполнять один конкретный вид вычислений», что они и делают более или менее рефлексивно, кроме как в «крайне неблагоприятных средах». Усвоение языка человеком в этом смысле инстинктивно, основано на специализированном «органе языка». Этот «модульный подход к обучению» Галлистел принимает как «норму в современной неврологии». Он доказывает, что в эти рамки можно уместить все, что понято достаточно хорошо, включая сюда выработку условных рефлексов, насколько она представляет собой реальный феномен. «Вообразить себе, что существует какой-то механизм обучения общего назначения в дополнение ко всем этим проблемо-специфичным механизмам обучения... — это аналогично попытке вообразить структуру органа общего назначения, берущего на себя функции, которые не выполняют узкоспециализированные органы, как печень, почки, сердце и легкие» или «сенсорный орган общего назначения, который обеспечивает функцию чувствования» для случаев, которыми не занимаются глаз, ухо и другие узкоспециализированные сенсорные органы. Ни о чем таком

в биологии не известно: «Адаптивная специализация механизма настолько вездесуща и настолько очевидна в биологии на любом уровне анализа и для любой функции, что никому не кажется необходимым обращать на нее внимание как на общий принцип для всех биологических механизмов». Соответственно, хоть это и «странны, но верно, — утверждает он, — что большая часть прежнего и нынешнего теоретизирования по поводу обучения» настолько радикально отступает от того, что принимается как должное в изучении организмов, — далее он доказывает, что это ошибка.

Насколько я могу судить, подход, который рекомендует Галлистел, вполне здравый; в конкретном случае языка, как мне кажется, он принимается во всех исследованиях по существу вопроса, по крайней мере молчаливо, даже тогда, когда это изо всех сил отрицается. Трудно избежать вывода о том, что «специализированный орган языка», языковая способность (ЯС), является частью биологического наследия человека. Ее начальное состояние представляет собой экспрессию генов и сравнимо с начальным состоянием системы зрительных анализаторов человека; по-видимому, можно предположить, что оно является общечеловеческим достоянием. Соответственно, типичный ребенок усвоит любой язык при надлежащих условиях, даже при жестком дефиците и в «неблагоприятных средах». Под активизирующими и формирующими воздействием опыта и внутренне детерминированных процессов созревания начальное состояние меняется, что дает позднейшие состояния, которые, похоже, стабилизируются на нескольких этапах, окончательно к пубертатному периоду. Начальное состояние ЯС мы можем представить себе как устройство, ко-

торое отображает опыт в достигнутое состояние L: «устройство усвоения языка» (УУЯ). Существование такого УУЯ иногда считается спорным, но оно не более спорное, чем (равнозначное) предположение, что существует специально выделенный «языковой блок», который отвечает за языковое развитие младенца, как существа в этом отличного, к примеру, от домашнего котенка (или шимпанзе, или кого угодно), при одинаковом, в сущности, опыте. Даже самые крайние «радикально бихевиористские» спекуляции предполагают (по крайней мере молчаливо), что ребенок может каким-то образом отличить языковые материалы от всей остальной путаницы вокруг них и поэтому постулируют существование ЯС (= УУЯ) [19]. А по мере того, как обсуждение усвоения языка подходит к существу дела, обсуждаемые предположения по поводу органа языка становятся еще обстоятельнее и все больше касаются особенностей той или иной конкретной области, насколько мне известно, без исключений. Это относится и к усвоению лексических единиц, которые, как оказывается, имеют богатую и сложную семантическую структуру, причем это относится даже к самым простым из них. Знание этих свойств становится доступным при очень ограниченных данных и, соответственно, можно ожидать, что оно будет, в сущности, единообразным во всех языках, и так оно и есть, насколько известно.

Тут мы подходим к вопросам по существу в рамках первых трех ракурсов этологического подхода, хотя опять-таки не ограничиваем изыскания по использованию языка укрепляющими последствиями: выживанием и воспроизведством. Мы можем исследовать фундаментальные свойства языковых выражений

и их использование для выражения мысли, иногда для коммуникации и иногда для того, чтобы мыслить и говорить о мире. В этой связи, конечно, достойны внимания сравнительные исследования коммуникации животных. Всегда имелись существенные работы по проблеме *репрезентации* у всевозможных видов. Несколько лет назад во введении к компендиуму обзорных статей по этой теме Галлистел доказывал, что репрезентации играют ключевую роль в поведении и познавательных процессах животных; «репрезентация» здесь понимается как изоморфизм, отношение «один к одному» между процессами сознания — мозга и «аспектом окружающей среды, к которым эти процессы адаптируют поведение животного», — например, когда муравей репрезентирует труп особи одного с ним вида по его запаху [20]. При этом со всей справедливостью можно спросить, имеют ли эти результаты какое-то отношение к ментальному миру людей и какое именно, а в случае языка, к тому, что называется «фонетической» или «семантической репрезентацией».

Как отмечено, с биолингвистической точки зрения, которая мне представляется уместной — и молчаливо принимаемой в работах по интересующей нас теме, — мы можем представить себе конкретный язык L как состояние ЯС; L — это рекурсивная процедура, которая генерирует бесконечное множество выражений. Каждое выражение можно считать неким набором информации для других систем сознания — мозга. Традиционное допущение, еще со времен Аристотеля, заключается в том, что такая информация делится на две категории — фонетическую и семантическую; это информация, используемая, со-

ответственно, сенсомоторными и концептуально-интенциональными системами — эти последние суть «системы мышления», если можно дать такое название чему-то не слишком понятному. Это вполне может оказаться чрезмерным упрощением, но давайте придерживаться обычая. Каждое выражение, стало быть, представляет собой внутренний объект, состоящий из двух наборов информации: фонетического и семантического. Эти наборы называются «репрезентациями», фонетической и семантической репрезентацией, но никакого стойкого изоморфизма между репрезентациями и аспектами окружающей среды нет. Ни в каком подходящем смысле внутренний символ и репрезентируемая вещь не спарены между собой.

Со звуковой стороны это принимается как должное. Если сказать, что элемент фонетической репрезентации, — скажем, внутренний элемент /ba/ в моем языке — выделяет в мире некую вещь, а именно звук ВА, то такое высказывание не было бы ложным. Но это совершенно безрезультатный ход и он никогда не предпринимается. Акустическая и артикуляторная фонетика больше стремится понять, как сенсомоторная система использует информацию из фонетической репрезентации для производства и интерпретации звуков — эта задача не тривиальная. Фонетическую репрезентацию можно представить себе как множество инструкций для сенсомоторных систем, но никакой конкретный элемент внутренней репрезентации не соотнесен с какой-то определенной категорией событий во внешнем мире или, может быть, с конструкцией, основанной на движении молекул. Похожие выводы, как мне представляется, уместны и со смысловой стороны. По крайней мере, со вре-

мен Аристотеля понятно, что даже простейшие слова включают в себя много разной информации: о материальном строении, об устройстве и предназначении, о происхождении, о гештальтных и каузальных свойствах и много о чем еще. Эта тематика довольно глубоко исследовалась во время когнитивной революции XVII и XVIII вв., хотя большая часть работ, в том числе и хорошо изученная британская эмпиристская традиция от Гоббса до Юма, остается малоизвестной за пределами среды ученых-историков. Те же выводы остаются в силе для простых существительных, исчисляемых и неисчисляемых — «река», «дом», «дерево», «вода», личные имена и географические названия, — для «чистейших референтных термов» (местоимений, пустых категорий) и т. д.; а когда мы обращаемся к элементам с реляционной структурой (глаголы, время и вид...), эти свойства усложняются, тем более когда мы переходим к более сложным выражениям. Относительно того, как рано в процессе онтогенеза начинается функционирование этих сложных систем знаний, известно мало, но есть все основания предполагать, что основы их являются частью биологического наследия человека в той же мере, как и способность к стереоскопическому зрению или отдельные виды управления моторикой, которые в изобилии и значительных подробностях выявляются в связи с тем, что в терминологии научной революции Нового времени называлось *ощущением*.

Ничего аналогичного в остальном животном мире как будто нет, даже на простейшем уровне. Несомненно, будет верно сказать, что мощнейший лексический взрыв и символическая презентация являются принципиально важными составляющими человече-

ского языка, но на одних возвзаниях к теории имитации и соответствуи символ — вещь далеко не уедешь, и даже эти несколько шагов вполне могут оказаться шагами на ложном пути. Когда мы обращаемся к организации и порождению репрезентаций, аналогии очень быстро нарушаются, если отойти от самого поверхностного уровня.

Эти свойства языка почти сразу же становятся очевидными при рассмотрении, — что вовсе не означает, будто они глубоко исследованы или хорошо поняты; ничуть не бывало. А двигаясь дальше, мы находим и другие свойства, приводящие в недоумение. Компоненты выражений — их *признаки*, в стандартной терминологии — должны поддаваться интерпретации системами, которые осуществляют к ним доступ; репрезентации на стыке с сенсомоторной системой и системой мышления состоят из интерпретируемых признаков. Поэтому можно было бы ожидать, чтобы и признаки, которые вводятся в вычисления, поддавались интерпретации, как в хорошо устроенных искусственных символических системах: в формальных системах для метаматематики, в компьютерных языках и пр. Но для естественного языка это не верно; со звуковой стороны, быть может, вообще никогда не верно. Один из принципиально важных случаев связан со словоизменительными признаками, которые не получают никакой семантической интерпретации: со структурным падежом (номинатив, аккузатив) или с признаками согласования, такими как множественность (которая интерпретируется при существительных, но не при глаголах и прилагательных). Факты не очевидны в поверхностных формах, но подтверждаются довольно убедительно. Работы по-

следних двадцати лет дают значительные основания подозревать, что эти системы неинтерпретируемых признаков во многом похожи в различных языках, хотя по внешнему проявлению признаков различаются довольно систематическим образом, и что немалая часть типологического многообразия языка сводится именно к этому крайне узкому субкомпоненту. Тогда может статься, что рекурсивная вычислительная система органа языка зафиксирована и определена, представляя собой экспрессию генов, а с ней и базовая структура возможных лексических единиц. Конкретное состояние ЯС – конкретный внутренний язык – детерминируется отбором из возможных высокоструктурированных лексических единиц и установкой параметров, которые ограничиваются неинтерпретируемыми словоизменительными признаками и их реализацией. Возможно, что это неплохое первое приближение, а то и нечто большее.

Представляется, что те же неинтерпретируемые признаки могут фигурировать и в повсеместно существующем свойстве смещенностии (*dislocation*) естественного языка. Под этим термином подразумевается то, что словосочетания очень часто артикулируются в одной позиции, а интерпретируются так, как если бы они находились в другом месте, где они способны находиться в похожих выражениях: смещенный субъект пассивной конструкции, к примеру, интерпретируется так, будто он находится в позиции объекта в локальном отношении к глаголу, который ему назначает семантическую роль. Смещенность имеет интересные семантические свойства. Возможно, что «внешние» системы мышления (внешние для ЯС, внутренние для системы сознания – мозга) требуют,

чтобы ЯС генерировала выражения с такими свойствами для того, чтобы они должным образом интерпретировались. Есть также основания полагать, что неинтерпретируемые признаки могут быть тем самым механизмом для реализации свойства смещенности, а может даже и оптимальным механизмом для удовлетворения этого условия, виешне налагаемого на ЯС. Если это так, то ни свойство смещенности, ни неинтерпретируемые признаки не представляют собой «несовершенства» ЯС, «недостатки конструкции» (термин «конструкции» здесь употребляется, конечно же, метафорически). Эти и другие соображения поднимают более общие вопросы оптимальности устройства: не является ли ЯС оптимальным решением для условий интерфейса, налагаемых системами сознания — мозга, в которые она встроена, сенсомоторной системой и системой мышления?

Такого рода вопросы серьезно ставятся лишь в самое последнее время. Их нельзя было поднять, прежде чем появилось сколько-нибудь твердое понимание фиксированных принципов языковой способности и ограниченных вариантов, дающих богатое типологическое многообразие, которое, как мы знаем, несмотря на видимость, во многом поверхностное, учитывая эмпирические условия усвоения языка. Пусть естественно неполное и не окончательное, это понимание в последние двадцать лет заметно возросло. Теперь уже представляется возможным серьезно поднимать вопросы об оптимальности устройства, а порой и отвечать на них. Более того, идея о том, что язык может быть оптимальным решением для стыковых условий, в ряде нетривиальных отношений представляется намного правдоподобнее, чем

несколько лет назад. В той мере, в какой она является верной, возникают интересные вопросы по поводу теории сознания, устройства мозга и роли законов природы в эволюции даже таких сложных органов, как языковая способность. Вопросы эти в значительной мере живы в теории эволюции на элементарных уровнях, в частности в пионерских работах Д'Арси Томпсона и Алана Тьюринга, которые до недавнего времени оставались в известной мере на обочине. Можно представить себе, что всеохватывающий этиологический подход, который обсуждался ранее, можно было бы в этом плане обогатить, пусть даже все еще в отдаленной перспективе.

Еще более далеки от нас фундаментальные вопросы, которыми руководствовалась классическая теория сознания, — креативный аспект языка, различие между действием, соответствующим ситуации, и действием, обусловленным ситуацией, между «вынуждением» действовать определенным образом или всего лишь «побуждением и склонностью» так действовать; и вообще, вопрос о том, как «члены тел животных движутся по команде воли» — Ньютона фраза в его обзоре остающихся неразрешенными тайн, в котором упоминались и причины взаимодействия тел, и электрическое притяжение и отталкивание, и прочие базовые вопросы, которые остаются непонятными согласно критериям научной революции.

В некоторых областях поиск компонентов системы сознания — мозга продвинулся вперед поразительно далеко. Есть оправданный оптимизм по поводу перспектив новых технологий и масса интереснейшей работы, ожидающей того, кто возьмется исследовать ментальные аспекты мира и их развитие. Но при этом

не стоит забывать о мыслях великих деятелей науки Нового времени — Галилея, Ньютона, Юма и др. — относительно «мрака», в котором «изначальные тайны природы всегда будут пребывать», возможно, в силу причин, коренящихся в биологическом достоянии любопытного существа, которое единственное способно хотя бы помышлять о таких вопросах.

ГЛАВА 4



Интервью Ноама Хомского о минимализме



Адриана Беллетти и Луиджи Рицци

Университет Сиены, 8–9 ноября 1999 г.;
исправлено 16 марта, 18 июня 2000 г.

1. Корни Минималистской программы

АБ и ЛР: Чтобы с самого начала придать нашей беседе доверительный тон, давайте в качестве отправной точки возьмем Пизанские лекции... [21] Подход, который появился двадцать лет назад в ходе обсуждений на ваших пизанских семинарах, вы часто характеризовали как значительную смену направления в истории нашей области знания. А как бы вы охарактеризовали эту перемену сегодня?

НХ: Ну, вряд ли это стало ясно сразу, но ретроспективно, как мне кажется, был такой период, в предшествующие лет, этак, двадцать, когда имела место попытка примириться с парадоксом, который возник

сразу же, как только были сделаны первые попытки изучать структуру языка самым серьезным образом, с более или менее жесткими правилами, попытка дать точное объяснение бесконечному множеству структур языка. Парадокс заключался в том, что для того, чтобы дать точное описание, представлялось необходимым колossalное увеличение количества самых разнообразных систем правил, чтобы для различных грамматических конструкций были разные правила. К примеру, относительные предложения не похожи на вопросительные предложения, а VP в венгерском языке отличается от NP и оба они отличаются от английских; и система взрывалась от своей собственной сложности. А с другой стороны, в то же самое время, а в действительности – вообще впервые, были предприняты усилия для того, чтобы как-то разрешить то, что позднее стало называться логической проблемой усвоения языка. Ведь понятно, что дети, овладевающие этим знанием, не имеют такого количества данных. В действительности, можно довольно точно оценить, сколько у них данных, и окажется, что данные эти крайне ограничены, и все же дети каким-то образом достигают таких состояний знания, которые, по-видимому, обладают высокой степенью сложности, дифференциации и разнообразия, – а ведь так не бывает. Каждый ребенок способен усвоить любое из таких состояний; дети специальным образом не устроены для того или другого состояния, так что, должно быть, базовая структура языка, в сущности, единообразна и идет изнутри, а не снаружи, что, по-видимому, несовместимо с наблюдаемым многообразием и увеличением числа систем правил. Таким образом, имелось некое противоречие, или, по крайней мере, напря-

жение, сильное напряжение между стремлением дать дескриптивно адекватное объяснение и стремлением объяснить овладение системой, что получило название объяснительной адекватности.

Уже в 1950-е гг. было ясно, что проблема существует, и предпринималось много попыток с ней разобраться. Легче всего было попытаться показать, что многообразие правил поверхностное, что можно отыскать самые общие принципы, которым следуют все правила, и если эти принципы абстрагировать от правил и приписать генетике ребенка, то оставшиеся системы будут выглядеть гораздо проще. Именно такой и была стратегия исследований. Ее возникновение относится к 1960-х гг., когда были открыты всевозможные условия, налагаемые на правила; идея заключалась в том, что если бы получилось разложить правила на универсальные условия и остаток, то остаток был бы попроще, а ребенку надо было овладеть только остатком. Так продолжалось довольно долго, с попытками умерить разнообразие и сложность грамматик непосредственных составляющих, трансформационных грамматик и так дальше в том же духе [22]. Так, например, X-штрих-теория была попыткой показать, что системы непосредственных составляющих в действительности не так разнообразны и сложны, как кажется, поскольку существует некая общая модель, в которую они все укладываются, так что достаточно поменять несколько свойств этой общей системы, чтобы получилась конкретная.

В Пизе случилось то, что все эти начинания каким-то образом в первый раз сошлись на семинарах, и возник метод, позволяющий, так сказать, разрубить этот гордиев узел вовсе: а именно, вообще устранив

правила и конструкции. Примерно так: сложных правил для сложных конструкций не будет, потому что нет вообще никаких правил и никаких конструкций. Японских VP и венгерских относительных предложений просто не существует в природе. Есть лишь самые общие принципы вроде «передвигай что угодно куда угодно» при предложенных фиксированных условиях, и еще есть параметры, которые надо зафиксировать, выбор вариантов: начальная позиция ядерного элемента или конечная, с опущением субъекта или без и т. д. Вот в этой самой модели зафиксированных принципов и отбора вариантов правила и конструкции исчезают, — они превращаются в артефакты.

И раньше были признаки того, что с понятием систем правил и конструкций вообще что-то не так. К примеру, в первые годы были долгие дебаты по поводу конструкций, подобных, скажем, *John is expected to be intelligent* ‘Предполагают, что Джон умен’: это что, пассивная конструкция вроде *John was seen* ‘Джона видели’, или это конструкция с подъемом, как *John seems to be intelligent* ‘Представляется, что Джон умен’? И нужно было решить или так, или эдак, ведь всюду были конструкции, а на самом деле, казалось, все одно и то же. Это такой спор, в котором вы сами знаете, что говорите не о том, о чем надо, потому что вроде бы и не имеет значения, как вы там решите. Ну и правильный ответ заключается в том, что никаких конструкций просто нет, нет ни пассива, ни подъема: есть только вариант перемещения чего-нибудь в какое-нибудь другое место при определенных условиях, и в определенных случаях это даст вам то, что традиционно называется пассивом, а в каких-то других случаях это вам даст вопрос и т. д., но эти грамматиче-

ские конструкции остаются как артефакты. В каком-то смысле они реальны; не то чтобы относительных предложений вообще не существовало, но они своего рода такой таксономический артефакт. Они как «сухопутные млекопитающие» или что-то вроде того. «Сухопутные млекопитающие» – это категория, но не биологическая. Это взаимодействие нескольких вещей и вот на что похожи все традиционные конструкции, VP, относительные предложения и т. д.

Вся история нашей науки, на протяжении тысяч лет, была историей правил и конструкций, и трансформационная грамматика в дни своей юности – порождающая грамматика – попросту приняла это на себя. Поэтому ранняя порождающая грамматика отличалась весьма традиционным стилем. Был раздел о пассиве в немецком, был раздел о VP в японском и т. д.: в сущности, порождающая грамматика взяла традиционную схему и попробовала придать ей большую точность, стала задавать новые вопросы и т. д. На дискуссиях в Пизе случилось так, что вся эта схема была перевернута вверх дном. И с этой точки зрения от традиционного подхода к структуре языка не осталось ничего, кроме таксономических артефактов, а это радикальное изменение, и тогда оно несло чувство избавления от чего-то гнетущего. Предложенные принципы, конечно же, оказались не верны, варианты выбора параметров были непонятные и т. д., но взгляд на многие вещи был совершенно непохожим на все, что было прежде, и это открыло путь к мощному всплеску исследований во всех областях, очень разнообразных типологически. Это явилось началом периода большого эмоционального подъема во всей нашей области знания. На самом де-

ле, я думаю, можно сказать со всей справедливостью, что за последние 20 лет о языке узнали больше, чем за предыдущие 2 000 лет.

АБ и ЛР: В свое время на интуитивном уровне из многих работ в рамках подхода принципов и параметров появлялись догадки о том, что соображения экономии, возможно, играют более важную роль, чем считалось прежде, и это, в конце концов, вызвало к жизни Минималистскую программу [23]. Что стимулировало появление минималистских интуитивных догадок? Было ли это связано – и в рамках подхода принципов и параметров, и прежде, с систематическим успехом исследовательской стратегии, состоящей в устраниении избыточности, в стремлении сделать принципы все более абстрактными и общими, в поиске симметрии (к примеру, в типологии нулевых элементов, которая направлялась исключительно теоретическими соображениями) и пр.?

НХ: Да, собственно, все эти факторы имели большое значение при возникновении подхода принципов и параметров. Обратите внимание, что это ведь не теория, это подход, схема, которая ускорила поиск всего избыточного и подлежащего устраниению и обеспечила новую платформу, с которой можно было двигаться дальше, причем с гораздо большим успехом. Конечно же, и раньше были попытки уменьшить сложность, устраниТЬ избыточность и т. д. Это идет с очень далеких времен; это методологическая позиция, которую пытаются отстаивать каждый, а со схемой принципов и параметров (ПиП) этот процесс ускорился. Однако появилось и нечто иное, вскоре после того, как эта система начала выкристаллизовы-

ваться в начале 1980-х гг. Еще до того, как рост числа дескриптивных и объяснительных работ принял характер настоящего взрыва, стало выясняться, что может появиться возможность задать новые вопросы, которые раньше не задавались. Не только прямые методологические вопросы: можно ли улучшить наши теории, можно ли устраниć избыточность, можно ли показать, что принципы применимы шире, чем мы думали; выработать теории, которые бы объяснили больше? Но также и такие: возможно ли, что система языка сама по себе имеет некое оптимальное устройство, иными словами — совершенен ли язык? Еще в начале 1980-х гг. я вот так и начинал каждый свой курс — «Давайте зададимся вопросом: может ли язык быть совершенным?» — а потом я весь семестр пытался ответить на этот вопрос, но никогда не получалось, система всегда становилась уж очень сложной.

А к началу 1990-х гг. каким-то образом стало получаться; достаточно было понять, что-то произошло, на первой лекции стало возможно спросить: «А может ли язык быть совершенным?» — и затем получить какие-то результаты, свидетельствующие о том, что это звучит не так безумно, как вам может показаться. Почему именно, — этого я с уверенностью сказать не могу, но в последние семь-восемь лет, как мне кажется, есть признаки того, что этот вопрос можно задавать всерьез. За научными исследованиями всегда стоит некое чутье, и, быть может, оно идет не в том направлении, но, по моему мнению, к которому можно относиться как угодно, удалось показать, что достаточно многое свидетельствует о том, что, вероятно, не абсурдно, а может даже вполне разумно, серьезно

задаваться вопросом, имеет ли язык некое оптимальное устройство.

Но что следует из того, что язык имеет оптимальное устройство? Сам этот вопрос заострился, и к его постановке и решению были приняты разнообразные подходы с нескольких различных точек зрения.

Между этими двумя взаимосвязанными, но отличными друг от друга вопросами произошел определенный сдвиг. Есть что-то вроде семейного сходства между попытками улучшить теории под влиянием методологии и попытками установить, не имеет ли сам объект определенного оптимального устройства под влиянием материала исследования. К примеру, если вы пытаетесь разработать теорию автомобиля, а он не работает, сконструирован из рук вон плохо, ломается, как, скажем, та старая машина, что у вас была в Амхерсте: вот если бы вы хотели разработать теорию этой машины, вы бы все равно попытались сделать теорию как можно лучше. Я имею в виду, что объект у вас, может быть, никуда не годится, но теорию вы все равно хотите сделать как можно лучше. Итак, на самом деле есть два отдельных вопроса, похожих, но отдельных. Один вопрос: давайте делать теории так хорошо, как только сможем, каким бы ни был их объект — снежинка, ваша машина в Амхерсте, мало ли что может быть... А другой вопрос: есть ли такой смысл, при котором устройство является оптимальным? Не является ли оно наилучшим решением для некоторого набора условий, которым оно должно удовлетворять? Это немного другие вопросы, и произошел определенный сдвиг от первого вопроса, который всегда уместен (давайте сконструируем наилучшую теорию), ко второму вопросу: а не обладает ли та

вещь, что мы изучаем, в некотором роде оптимальным характером? В то время это не было ясно: такие вещи по большей части становятся ясны ретроспективно. А может быть, занимаясь научными исследованиями, вообще только *позже* начинаешь понимать, чем ты занимался: сначала ты это делаешь, а потом, если повезет, понимаешь, что ты пытался сделать, и через годы эти вопросы проясняются. Вот сейчас достигаешь определенного уровня понимания, а через пять лет будешь смотреть на эти вещи по-другому.

АБ и ЛР: К следующему вопросу, в котором речь будет идти о различии между методологическим минимализмом и тезисом о существе вопроса, вы уже обращались. И все-таки давайте об этом моменте поболтаем поподробнее, поскольку вам, наверное, захочется что-то добавить. Минималистская программа содержит в себе методологические допущения, которые в основном сходны с методом постгалилеевских естественных наук, с тем, что иногда называют «галилеевским стилем»; и еще шире — некоторые из такого рода допущений являются общими для человеческого рационального научного поиска в целом (бритва Оккама, минимизация аппарата, стремление к симметрии и изяществу и пр.). Но сверх того, кажется, есть еще и некий тезис по существу дела, тезис о природе естественных языков. В чем же заключается этот тезис? Как связаны между собой минимализм методологический и минимализм содержательный?

НХ: Собственно, по каждой из этих тем можно сказать очень много: возьмем выражение «галилеевский стиль». Это выражение использовал ядерный физик Стивен Вайнберг, позаимствовав его у Гуссер-

ля, но не только применительно к попытке улучшить теории. Он имел в виду тот факт, что физики «придают более высокую степень реальности» математическим моделям Вселенной, которые они конструируют, нежели «обыденному миру ощущений» [24]. Что поразительно у Галилея, а в то время это считалось и вовсе возмутительным, так это то, что он просто отмахивался от многих данных; он был готов сказать: «Знаете что, если данные опровергают теорию, то, наверное, эти данные неправильные». И ведь те данные, которые он отбрасывал, вовсе не были малозначительными. Например, он защищал тезис Коперника, но не мог объяснить, почему тела не отрываются от земли; если земля вращается, то почему тогда все не улетает в космос? И также, если посмотреть в телескоп Галилея, то на самом деле не увидишь четыре луны Юпитера, а увидишь какую-то жуткую мешанину непонятно чего, и надо быть готовым проявить немалую снисходительность, чтобы согласиться, что видишь четыре луны. В то время он подвергался значительной критике, — это в такой период ориентации на данные, и, кстати, почти во всех областях знания, кроме ядра естественных наук, у нас точно такой же период. В лингвистике нам приходилось сталкиваться с такой же критикой. Я вспоминаю первую лекцию, которую я читал в Гарварде (просто чтобы привести пример из личного опыта). Это было в середине 1950-х гг. (Моррис [Халле] всегда вспоминает про это), я был аспирантом и рассказывал о чем-то, связанном с порождающей грамматикой. Поднялся с места главный гарвардский профессор Джошуа Уотмоу, такой напыщенный субъект, прервал меня всего минут через десять: «А вот как бы вы управились...» — и тут

он называет какой-то малоизвестный факт из латыни. Я сказал, что не знаю, и попытался продолжить, но нас сбили и все оставшееся время мы говорили именно об этом. И знаете, это очень характерно, и именно с этим наукой приходилось сталкиваться на ранних стадиях своего развития и до сих пор приходится сталкиваться. А «галилеевский стиль», то самое, что имел в виду Стивен Вайнберг, — это признание того, что в действительности истина — это как раз и есть те абстрактные системы, что вы конструируете; а всевозможные феномены — это некое искажение истины из-за чрезмерного числа приводящих факторов, самых разных. И потому часто имеет смысл пренебречь феноменами и искать принципы, которые, похоже, действительно дают возможность глубоко постичь, почему некоторые феномены именно такие, при этом признавая, что есть и другие феномены, которым вы не можете уделить внимание. Физики даже сегодня не могут в деталях объяснить, например, как вода течет из крана, или структуру гелия или другие вещи, которые кажутся чересчур сложными. Физика находится в ситуации, в которой 90 % материи во Вселенной — это то, что называется темной материей, — а темной она называется потому, что они не знают, что это такое, найти ее не могут, но она непременно должна где-то присутствовать, иначе физические законы не будут работать. То есть люди продолжают счастливо жить, допуская, что 90 % материи во Вселенной мы просто не замечаем. Теперь это стало считаться нормальным, но во времена Галилея это считалось скандальным. И под «галилеевским стилем» понималась крупная перемена во взгляде на мир:

пытаться понять, как он действует, а не просто описать побольше феноменов, — и это немалый сдвиг.

Что же до стремления к понимаемости и улучшению теорий, этот сдвиг в некотором смысле постньютонианский, как признают ньютоноведы. Ньютон, в сущности, продемонстрировал, что сам мир не понимаем, по крайней мере в том смысле, в каком наука Нового времени надеялась его понять, и лучшее, что можно сделать, — это сконструировать теории так, чтобы они были понимаемы, — но это уже совсем другое. Таким образом, для интуиции, подсказанной здравым смыслом, мир не будет иметь смысла. Скажем, нет никакого смысла в том, что можно пошевелить рукой и сдвинуть луну. Это непонимаемо, но верно. И признавая, что сам мир непонимаем, что наши умы и природа мира не так уж совместимы, мы уходим в иные стадии развития науки. Такие стадии, в которых надо пытаться сконструировать наилучшие теории, понимаемые теории. И это-то и становится еще одной частью «галилеевского стиля». Эти крупные перемены перспективы определяют научную революцию. На самом деле в большинстве областей научного поиска их не приняли, но в физике, в химии они стали чем-то вроде второй натуры. Даже в математике, в самой чистой науке, какая только есть, «галилеевский стиль» действовал, причем поразительным образом. Так, например, Ньютон и Лейбниц открыли дифференциальное и интегральное исчисление, но в их открытии были неточности, противоречия. Философ Беркли нашел эти противоречия: показал, что в одной строке доказательства нуля Ньютона стоял нуль, а в другой строке было нечто настолько малое, насколько можно себе вообразить, но все-та-

ки не нуль. Разница есть, и в этом логическая ошибка неопределенности; значения терминов смещаются, и доказательства не проходят. Много таких ошибок было найдено.

Собственно, британские и континентальные математики пошли разными путями (почти разными, не на 100 %, но в основном). Британские математики пытались преодолеть проблемы и не могли, так что это был своего рода тупик, притом, что Ньютон практически создал высшую математику. А континентальные математики пренебрегли проблемами, и именно оттуда пошел классический математический анализ — Эйлер, Гаусс и т. д. Они просто сказали: «Мы пока поживем с этими проблемами и будем заниматься математикой, а там когда-нибудь кто-нибудь разберется, в чем дело». В сущности, это аналогично отношению Галилея к вопросу о том, почему с Земли не слетают предметы. И, в общем-то, так все и было. В первой половине XIX в., например, Гаусс создавал большую часть современной математики, но делал это как бы интуитивно, без формализованной теории, более того, используя подходы, которые имели внутренние противоречия. Потом наступил момент, когда уже некуда было деваться от этих вопросов: нельзя было двигаться дальше, если на них не ответить. Возьмем понятие «предел». У нас есть интуитивное понятие предела: вы приближаетесь к точке все ближе и ближе; когда вы изучаете исчисление в школе, вам рассказывают о бесконечно малых, о произвольно малых величинах, но в этом нет никакого смысла. Не бывает ничего произвольно малого. Потом в истории математики наступил момент, когда с этими интуитивными, противоречивыми понятиями работать стало уже про-

сто невозможно. Вот в тот момент это дело и привели в порядок, и современное понятие предела было разработано как понятие топологическое. Это все прояснило, и мы теперь все понимаем; а ведь в течение длительного периода, больше того, весь классический период, системы были неформальными и даже противоречивыми. В какой-то мере это верно даже для геометрии. Принято считать, что геометрию формализовал Евклид, но ведь он ничего не формализовывал, в современном понимании формализации, слишком уж много было пробелов. И на самом деле геометрия была формализована всего лишь сто лет тому назад Дэвидом Гилбертом, который дал первую формализацию в современном смысле слова для большого объема результатов, полученных в полуформальной геометрии. И то же верно и сейчас. Теория множеств, например, вовсе не является формализованной для математика, который пользуется интуитивной теорией множеств. А что верно для математики, то будет верно и для всего прочего. Для химиков-теоретиков теперь есть понимание того, что существует квантово-теоретическая интерпретация их исследований, но если взглянуть на тексты, даже тексты углубленных изысканий, то для разных целей используются несовместимые модели просто потому, что мир слишком уж сложен.

Ну и все это является частью того, что можно назвать «галилеевским стилем»: посвящения себя делу достижения понимания, а не просто охвата. Охват феноменов сам по себе ничего не значит и, в действительности, те данные, которыми пользуются, скажем, физики, крайне экзотичны. Если наснимать на видеокассету все, что происходит за окном, то ученых-физиков это не заинтересует. Они интересуются тем,

что происходит при искусственно созданных экзотических условиях экспериментов, тем, чего, может, и не бывает в природе, вроде сверхпроводимости, которая, видимо, даже не есть явление природы. Признание того, что именно таким путем и нужно идти науке, если мы хотим добиться понимания окружающего мира, или что любой рациональный поиск должен идти таким путем, явились довольно крупным шагом. В нем было много составных частей, вроде галилеевского решения отбрасывать упрямые феномены, если благодаря этому достигается понимание, постньютоновской заботы о понимаемости теорий, а не мира, и т. д. Все это — часть методологии науки. Этому нигде не учат; в Массачусетском технологическом институте нет курса по методологии физики. Более того, единственная дисциплина, в которой, насколько мне известно, есть курсы по методологии, — это психология. Для соискания ученой степени по психологии надо прослушать курсы по методологии, но если писать диссертацию по физике или химии, то не надо. Методология будто бы у вас в костях. На самом деле, обучение естественным наукам похоже на обучение ремеслу башмачника: просто работаешь с мастером и либо понимаешь, либо не понимаешь. Если понял, значит, можешь сам быть башмачником, если не понял, значит, плохой из тебя башмачник. Этого никто не преподает, никто и не знает, как это преподавать.

Хорошо, мы говорили о методологической стороне. А еще есть совершенно отдельный вопрос: какова природа объекта, который мы изучаем? То есть деление клетки — это что, жуткая куча непонятно чего? Или же это процесс, следующий очень простым фи-

зическим законам и не требующий вообще никаких генетических инструкций, потому что физика просто вот так работает? Не потому ли все разбивается на сферы, что при этом удовлетворяются требования наименьшего расходования энергии? Если бы и вправду было так, это было бы что-то идеальное; сложный биологический процесс, который идет именно так, как он идет, благодаря фундаментальным физическим законам. Вот такой красивый процесс. Но с другой стороны, можно взять развитие какого-нибудь органа. Самый известный пример — это человеческий позвоночник, который спроектирован некачественно, как каждый знает по личному опыту; это такая халтура, а может, это лучшее, что можно было сделать в сложных условиях, но все-таки сделано неважно. На самом деле, теперь, когда человеческая технология развита, обнаруживаются такие способы выполнения тех или иных задач, которые природа найти не смогла; и наоборот, кое-что из того, что нашла природа, мы сделать не сможем. Например, самое простое дело — применение металлов. Мы применяем металлы все время; природа для строения организмов их не использует. И притом металлы изобилуют на поверхности Земли, но организмы все же сделаны не из металлов. Металлы обладают очень хорошими конструкционными свойствами, почему, собственно, люди ими и пользуются; но эволюция, по какой-то причине, не смогла взять эту вершину. Есть и другие похожие случаи. Примером случая, в котором на самом деле пока мало что понятно и изучение которого только начинается, является тот факт, что зрительные и светочувствительные системы всех известных организмов от растений до млекопитающих осуществляют доступ только

к одной определенной части энергии солнца, и, более того, самая насыщенная — инфракрасная — часть спектра организмами не используется. Это любопытный факт, поскольку с точки зрения приспособления к условиям окружающей среды было бы очень выгодно иметь возможность воспользоваться этой энергией, и человеческая технология позволяет это сделать (с помощью инфракрасных детекторов), но эволюция, опять же, эту дорожку найти не смогла, а почему — вопрос интересный. В настоящий момент есть только спекуляции: например, предположение о том, что просто не существует такой молекулы, которая бы могла преобразовать эту часть светового спектра в химическую энергию; поэтому эволюция не могла наткнуться на эту молекулу случайно, как в случае с тем, что мы называем видимым светом. Может, это и есть ответ. Но если дело обстоит так, то глаз в каком-то смысле устроен хорошо, а в других смыслах он устроен плохо. Таких примеров предостаточно. Например, тот факт, что у вас нет глаза на затылке — это пример неудачной конструкции: если бы у вас был такой глаз, вам было бы куда как удобнее, ведь если бы к вам сзади подходил саблезубый тигр, то вы бы его заметили.

Можно задавать сколько угодно таких вопросов: насколько хорошо сконструирован объект? И независимо от того, хорошо или плохо, для того чтобы ответить на этот вопрос, надо кое-что добавить: сконструирован для чего? Насколько хорошо объект сконструирован для X? И наилучшим возможным ответом будет такой: пусть «X» будет означать элементарные возможные обстоятельства физического мира и пусть «наилучшая конструкция» означает попросту автоматическое следствие физического закона при данных

элементарных возможных обстоятельствах физического мира (так, чтобы, к примеру, нельзя было лететь быстрее скорости света и т. п.).

И при этом совершенно отдельно стоит вопрос: пусть мне дан некий организм или система, любой предмет, который я пытаюсь исследовать, — Солнечная система, пчела, все, что угодно, — насколько хорошую теорию я смогу сконструировать для этого объекта? Там уже пытаешься сконструировать лучшую теорию, какую сможешь, применяя «галилеевско-ньютоновский стиль», не позволяя себя отвлекать феноменам, которые с виду нарушают объяснительную силу теории, признавая, что мир не согласуется с интуицией, продиктованной здравым смыслом, и т. д.

Это две совершенно разные задачи. Первая задача — спросить, насколько хорошо сконструирована система, это новый вопрос в Минималистской программе. Конечно же, «конструкция» — это метафора, мы знаем, что систему никто не конструировал, это никого не сбивает с толку. Минималистская программа станет серьезной программой тогда, когда можно будет дать осмысленный ответ на вопрос: что есть X, когда вы говорите «хорошо сконструирована для X»? Если можно дать ответ, значит, у нас, по крайней мере в принципе, есть осмысленный вопрос. Не является ли он преждевременным, можно ли его исследовать, — это другое дело. Все эти вещи стали появляться после того, как программа ПиП по существу разрушила гордиев узел, преодолев напряжение между проблемой дескриптивной и проблемой усвоения языка, или объяснительной; на самом деле впервые в истории дисциплины появилась настоящая модель для теории.

До 1950-х гг. эти проблемы со всей отчетливостью не вставали, хотя сама дисциплина существует уже тысячи лет. До 1950-х гг. не было четкого выражения проблемы; того факта, что, с одной стороны, имелась проблема корректного описания языков, а с другой стороны, была проблема объяснения того, как эти языки вообще можно выучить. Насколько мне известно, до 1950-х гг. эта пара вопросов никогда не ставилась в противовес друг другу. Тогда же это стало возможно благодаря развитию формальных наук, которые прояснили понятие генеративного процесса и т. д. Стоило сформулировать базисные вопросы, как возникло напряжение, и даже парадокс. Пизанские семинары явились первой возможностью преодоления этого парадокса и тем самым дали некоторое представление о том, какой должна быть подлинная теория языка. Парадокс надо преодолеть. Тогда будет схема, и следствием этого станет постановка новых вопросов, вроде вопроса об оптимальности объекта, а не только о методологической оптимальности.

2. Совершенство и несовершенства

АБ и ЛР: Минималистская программа развивает тезис о том, что человеческий язык может быть «совершенной системой», системой, оптимально сконструированной так, чтобы соответствовать определенным условиям, налагаемым другими когнитивными системами, с которыми взаимодействует языковая способность. Но каковы направляющие идеи относительно того, что считать «совершенством»? Некоторые пояснения тут бы не повредили. Ведь нетрудно

представить себе такие критерии совершенства или оптимальности, согласно которым человеческий язык был бы устроен далеко не оптимально. Рассмотрим, к примеру, повсеместное присутствие неоднозначности в естественном языке, свойство, которого «суперинженер», надо полагать, избежал бы при определенных целях (если воспользоваться метафорой, к которой вы часто отсылаете в своих минималистских сочинениях). Также можно было бы найти аргументы в пользу утверждения, что язык, как абстрактная вычислительная способность, отнюдь не оптимально приспособлен к человеческой системе употребления языка (с ее ограничениями, связанными с возможностями памяти и др.), поскольку может вызывать всевозможные неупотребляемые структуры (предложения-тропинки, гнездование и пр.), как вы сами часто указывали. Такого рода критерии оптимальной конструкции *a priori* мыслимы и вполне разумны, но ясно, что здесь имеются в виду не они. Какие же критерии совершенства придадут минималистскому тезису основательность?

НХ: Давайте разграничим два вопроса. Первый: что мы подразумеваем под оптимальностью? Лучше, чтобы правил было меньше, а не больше; лучше, чтобы памяти в вычислениях использовалось меньше, а не больше и пр. Кое-какие, не точные, но общие идеи о том, что такая оптимальность, есть. Второй вопрос: а каким условиям система должна соответствовать? По-моему, то, что вы сейчас затронули, относится к этому вопросу, и вы совершенно правы: точки зрения могут быть разные. Если вы примите стандартную функционалистскую точку зрения, вы спросите: хорошо ли система сконструирована для

употребления? То есть окажется ли ее конструкция удачной для тех целей, к которым ее применяют люди? И ответ будет «видимо, нет»; т. е. для употребления система, как представляется, сконструирована не так уж удачно по причинам вроде тех, что вы упомянули (неоднозначности, предложения-тропинки, множество непонятных выражений, выражения, которые сами по себе совершенно понятны, но образованы неправильно). В каком-то смысле конструкция системы оказывается неудачной, по крайней мере, не идеальной для целей употребления, но все же она сконструирована достаточно хорошо, чтобы кое-как справляться с задачей, без этого никак. И больше ничего нам обнаружить не удастся: она сконструирована достаточно хорошо, чтобы кое-как справляться с задачей. Тогда встает вопрос: а можем ли мы найти другие условия, такие, что для этих условий конструкция языка будет удачной и оптимальной? По-моему, можем, если посмотреть в другом ракурсе. Вместо того чтобы задавать стандартный функционалистский вопрос, хорошо ли язык сконструирован для употребления, мы зададим другой вопрос: хорошо ли он сконструирован для взаимодействия с системами, внутренними по отношению к сознанию? Это совсем другой вопрос, потому что, возможно, и все строение сознания сконструировано не совсем удачно для употребления. Вот давайте посмотрим, я попробую провести аналогию: возьмем какой-нибудь другой орган человеческого тела, скажем, печень. Вполне возможно, вы обнаружите, что конструкция печени не подходит для жизни в Италии, поскольку там люди пьют столько вина, что у них возникают всяческие заболевания печени; следовательно, печень была плохо сконструирована для

выполнения ее функции. В то же время, вполне может быть, что печень прекрасно сконструирована для взаимодействия с системой кровообращения, с почками и т. д., это ведь совсем другое дело. С точки зрения отбора, естественного отбора, все должно быть сконструировано хорошо, по крайней мере умеренно хорошо для использования, достаточно хорошо для того, чтобы организмы были способны к воспроизведству и т. д. Но совершенно отдельный вопрос: забудем о цели, к которой применяется объект, насколько удачна конструкция с точки зрения внутренней структуры? Это вопрос иного рода и, вообще-то, это новый вопрос. Естественный подход всегда предполагал вопрос: удачна ли конструкция для употребления, понимаемого в типичном случае как употребление для коммуникации? Я думаю, это не тот вопрос.

Использование языка для коммуникации может оказаться чем-то вроде эпифеномена. В том смысле, что система как-то развилась, уж как она там развилась, этого мы на самом деле не знаем. А далее мы можем спросить: как люди ею пользуются? Может статья, она не оптимальна для некоторых из способов, которыми мы хотим ею пользоваться. Если вы хотите исключить взаимное непонимание, то конструкция языка для этой цели неудачна, поскольку существуют такие свойства, как неоднозначность. Если вы хотите, чтобы было такое свойство, чтобы то, что нам обычно нужно сказать, выходило коротко и просто, ну, что тут скажешь, наверное, в языке просто нет такого свойства. Многое из того, что нам нужно сказать, бывает очень трудно выразить, может даже и невозможно выразить. Часто обнаруживаешь, что не удается выразить простые намерения и чувства, которые

хочется кому-то передать; из-за таких вещей в обычной жизни рушится множество межличностных взаимодействий. То есть во многих функциональных отношениях конструкция системы неудачна. Но есть совершенно отдельный вопрос: хорошо ли сконструирована система по отношению к внутренним системам, с которыми она должна взаимодействовать? Это совершенно другая перспектива и новый вопрос; и это как раз и есть тот вопрос, на который пытается ответить Минималистская программа.

Я бы сейчас представил это таким образом, что система, в сущности, помещается в среду уже существующих внешних систем: внешних для языковой способности, внутренних для сознания. То есть имеется сенсомоторная система, которая существует независимо от языка; может быть, она как-то видоизменяется из-за присутствия языка, но, в сущности, она там присутствует независимо от языка. Кости среднего уха из-за присутствия языка не изменяются. Еще там где-то находится какая-то система мышления (формирования понятий, интенций и т. д.). Сюда относится то, что традиционно называется «общими понятиями» или «врожденными идеями». Также, может быть, анализ в терминах того, что называется «наивной психологией», интерпретация действий людей в терминах убеждений и желаний, узнавание вещей в мире и того, как они двигаются, и т. д. Ну и надо полагать, что все это не находится всецело в зависимости от языка; вероятно, у других приматов есть что-то похожее, и даже, может быть, способность приписывать сознание другим организмам, по этому вопросу сейчас идет много дебатов. Языковая способность должна взаимодействовать с этими системами,

иначе она вообще ни на что не годится. И тогда мы вправе спросить: хорошо ли ее конструкция подходит для взаимодействия с этими системами? Вот тогда-то и получается совсем иной набор условий. На самом деле, единственное условие, которое вырисовывается четко, заключается в том, что этим системам должна быть доступна информация, которая хранится в языке, ведь он, в сущности, представляет собой информационную систему — таково это единственное условие. Мы можем спросить, хорошо ли конструкция языка отвечает условию доступности для систем, в которые он встроен. «Читаема» ли предоставляемая им информация для этих систем? Это как если бы мы спросили: доступна ли печень для других систем, с которыми она взаимодействует? Если бы печень вырабатывала нечто, не желчь, но нечто другое, чему организм был бы не в состоянии найти применение, то ничего хорошего из этого бы не вышло. И этот вопрос — иной, нежели приспособлена ли печень к жизни в культуре потребления вина. Совсем иной вопрос.

АБ и ЛР: Эмпирически содержательное определение совершенства подразумевает выявление возможных несовершенств. Словоизменительную морфологию часто называют видимым несовершенством. К примеру, в искусственно созданных формальных языках есть рекурсивный синтаксис, способный исчислять выражения на неограниченной области, но в них нет ничего, напоминающего морфологию естественного языка. Какой интуицией здесь следует руководствоваться?

Морфология представляется одновременно и несовершенством, и определяющим свойством естест-

венных языков. Как примирить эти два аспекта в минималистской перспективе?

НХ: Морфология — чрезвычайно поразительное несовершенство; по крайней мере, она представляется несовершенством при поверхностном взгляде. Если бы вы проектировали систему, вы бы не стали вносить ее в проект. Но, впрочем, не только ее; например, ни в каком формальном языке нет ни фонологии, ни прагматики, ни смещенностей в том смысле, в каком мы все ее понимаем: выражения встречаются не там, где вы их интерпретируете, а где-то еще. Все это — несовершенства, на самом деле, даже тот факт, что существует более одного языка, — это своего рода несовершенство. Почему так? Все это, — по крайней мере на первый взгляд, несовершенства, вы бы не стали привносить их в систему, если бы пытались сделать так, чтобы она работала достаточно просто. Неплохая интуиция, которой можно руководствоваться по поводу несовершенств, заключается в том, чтобы сравнить естественные языки с искусственно созданными «языками», с искусственно созданными символическими системами. Когда найдете какие-нибудь отличия, можете подозревать, что перед вами — нечто, на первый взгляд представляющее собой несовершенство. А отличия есть практически по всем пунктам. Например, в формальных языках нет четко установленного синтаксиса; в них есть просто множество правильно образованных выражений, а синтаксис может быть какой угодно. Поэтому не существует правильного ответа на вопрос: каковы *истинные* правила образования правильно образованных формул арифметики? Каковы аксиомы арифметики? Ответ:

любое множество аксиом, какое вам вздумается, может сгенерировать все теоремы. Реальны теоремы, а не аксиомы; аксиомы — это лишь способ описания теорем, один из многих способов. Похожим образом, если вы изобретаете компьютерный язык, на самом деле не имеет значения, какие правила вы подберете, чтобы охарактеризовать его выражения; язык — это выражения, а не характеризующая их конкретная вычислительная система. А естественный язык так не работает. В естественном языке есть что-то, что находится в голове, и вот это-то и есть вычислительная система. Генеративная система есть нечто реальное, столь же реальное, как печень; генерируемые же высказывания — это своего рода эпифеномен. Такова противоположная точка зрения.

Кроме того, совершенно разной представляется семантика естественного языка и формальных языков, по крайней мере по моему мнению. И в отличие от наблюдения по поводу синтаксиса, которое является общеизвестным, этот тезис как раз вызывает споры. Мало кто со мной соглашается по этому поводу, но я считаю их совершенно разными. В формальной системе, подобной системе Фреге, или вообще в любой системе специального назначения, кто бы ее ни сконструировал, символы предназначаются для того, чтобы выделять вещи, реальные вещи. И в том же заключается идеал для естественных наук. Если вы строите научную теорию, вам хочется, чтобы ее термины выделяли какие-то реальные вещи в мире. Вот, скажем, когда мы постулируем принцип пустых категорий (ППК), мы ведь исходим из того, что в мире существует нечто, соответствующее ППК, потому эта тема и поднимается. Еще ученые иногда говорят, ска-

жем, о долготе, но они знают, что это не реальная вещь, это просто система записи для описания вещей. Но цель науки — и эта цель встроена в каждую искусственно созданную символическую систему — заключается в том, чтобы термины что-то выделяли: это их семантика, в сущности, это отношение слово — вещь. А вот работает ли так язык, — это большой вопрос. По-моему, не работает. И в таком случае, даже и в этом отношении, он отклоняется от искусственных символьических систем. По сути дела, он по всем существенным пунктам отклоняется от нормы, и надо спросить, почему это язык имеет такие свойства; это вопрос справедливый. Многие из подобных вопросов, как мне кажется, чересчур трудные, и как раз, если верно, что отношения слово — вещь не существует, как я это себе представляю, то тогда вопрос, почему отношения слово-вещь не существует, пока что чересчур труден.

Но другие вопросы, вроде морфологии, могут оказаться попроще. Поэтому давайте спросим, почему в языке есть морфология, зачем языку нужно это видимое несовершенство? Вопрос касается в основном одной конкретной части морфологии. Например, число при существительных на самом деле не является несовершенством. Ведь надо же как-то отличить единственное число от множественного, внешним системам надо знать об этом. И действительно, различие показателей числа при существительном в чем-то похоже на различие между разными словами: так же, как у вас есть слова «стол» и «стул», есть единственное число и множественное число, и если множественное число выражается словоизменительным показателем, а «стул» — нет, то на это имеются вполне разумные основания. А именно, все вещи должны быть

или в единственном числе, или во множественном, но не все обязательно должно быть стулом или не стулом. Так что какая-то часть морфологии нужна, для нее есть убедительные основания. Формальные языки не различают единственность и множественность, потому что для них это не интересно, это неинтересное различие. Но человеческий язык интересуется этим различием, поэтому в нем оно есть, подобно какой-нибудь лексической единице, а ввиду общераспространенности этого различия языки выражают его в форме словоизменительного показателя, в отличие от «стол» — «стул», различия, которое нельзя распространить на все существительные. То есть в этой части несовершенства нет.

Несовершенство кроется в показателях числа при глаголе. Там-то они зачем? При существительном они уже есть, так зачем же они нужны еще и при глаголе или при прилагательном? Там показатели числа выглядят избыточными, и вот это и есть несовершенство. Иначе говоря, этот признак, или проявление этого признака, скажем, множественности при глаголе, не интерпретируется. Оно интерпретируется только при существительном, и именно поэтому в традиционных грамматиках всегда говорится, что глаголы согласуются с существительными и что прилагательные согласуются с существительными, а не наоборот. Собственно, до самого недавнего времени с точки зрения генеративной грамматики или структуралистской грамматики согласование выглядело просто как некое отношение. Казалось, никакой асимметрии в нем нет, ни в каком смысле нельзя сказать, что глаголы согласуются с существительными в большей степени, чем существительные с глаголами. И как мы знаем, если по-

смотреть на языки поверхностно, то может показаться, будто бы важнее согласовательные показатели при глаголе, как в итальянском, языке с опущением субъекта. Выглядит так, будто информацию передают словоизменительные признаки глагола, а не существительного. На самом деле, есть функционалистские штудии, которые пришли именно к такому заключению.

Если подвергнуть эти вопросы минималистской критике, то все начинает выглядеть совсем иначе. Похоже, что есть доля истины в традиционной идее о том, что глаголы согласуются с существительными, а не наоборот. То, что согласуется, — надо полагать, глагол, прилагательное, artikelъ и т. д., — видимо, имеет неинтерпретируемые признаки — признаки, которые не получают самостоятельной интерпретации от внешних систем. Стало быть, зачем они там нужны? В этом-то и есть несовершенство. Несовершенство — это неинтерпретируемые признаки.

Согласовательные признаки — интересный случай, поскольку иногда они интерпретируются, а иногда — нет. А еще один интересный случай — это, на самом деле, падеж. Системы падежей и словоизменительные системы изучаются тысячи лет. Это ядро традиционной грамматики — словоизменительные системы, включающие падежные системы; об этом есть огромная масса литературы. К 1940-м и 1950-м гг. в рамках структурализма эта традиция обзавелась довольно сложным формальным аппаратом. Так, скажем, «*Kasuslehre*» Романа Якобсона [25] — это тонкий анализ падежных систем. Но насколько я могу установить, там никогда не проводилось никакого различия между тем, что мы сейчас называем структурным и глубинным падежом; я недостаточно хорошо знаком с ли-

тературой, чтобы проверить самому, но я спрашивал других людей, и среди них Джузеппе Лонгобарди, и, по-видимому, никакого четкого признания различия нет. В своем «Kasuslehre» Якобсон, что принципиально, такого различия не проводит; его замысел заключается в том, чтобы показать, что каждый признак обладает всеми «нужными» свойствами (как при стандартном структуристском подходе), так что каждый падежный признак должен обладать семантическими свойствами. Так, ablativ имеет какое-то семантическое свойство, и пр. А потом он пытается показать, что и номинатив с аккузативом имеют реальные семантические свойства. Ну не имеют они этих свойств! Падежи делятся на те, которые имеют семантические свойства, как преимущественно датив, и те, которые таких свойств не имеют, как номинатив и аккузатив (или эргатив и абсолютив). Насколько мне известно, это деление не было замечено до использования подхода ПиП; затем, в начале 1980-х гг., как-то сразу выяснилось, что это ядро естественного языка, система, которую изучали веками, даже тысячелетиями, распалась на две части, одна из которых представляет собой несовершенство (по крайней мере на первый взгляд), а вторая — нет. И глубинные падежи, те, что связаны с семантикой, на самом деле не являются несовершенством: они маркируют семантическое отношение, о котором надо знать интерпретатору (подобно множественности при существительных). А с другой стороны, зачем нам номинатив и аккузатив (или эргатив и абсолютив), они-то что делают? Интерпретации они не получают: существительные интерпретируются совершенно одинаково, независимо от того, в номинативе они или в аккузативе, это как

словоизменительные признаки при прилагательных и глаголах: кажется, будто бы их там быть не должно. Это и в самом деле ведет к интересным вопросам. Если вы интересуетесь минималистскими вопросами, то вы именно это и спросите: а зачем они там нужны? По-моему, имеется, по крайней мере, правдоподобное предположение: они присутствуют, возможно, как оптимальный метод реализации чего-то другого, что там должно быть, а именно смещенности.

Семантика выражений, как представляется, распадается, по меньшей мере, на две части: то, что в свое время называлось интерпретацией глубинной и поверхностной структуры. Как представляется, есть просто различные виды семантических свойств: как именно они подразделяются, не вполне ясно, но кое-какие различия вполне заметны. Есть свойства, связанные с тем, что часто называется тематическими отношениями, такими как пациент, экспериенцер и пр.; а есть такие, которые вроде бы относятся к дискурсу, как новая/старая информация, определенность (specificity), топик и другие подобные вещи. По всей видимости, это различные категории семантических свойств, но как именно их разделить, — не совсем понятно. Возьмем сферу действия кванторов; в работах двадцатипятилетней давности она считалась прототипическим поверхностным свойством, а теперь считается прототипическим не-поверхностным свойством, свойством ЛФ. Из непроанализированных феноменов это не очевидно. Но когда узнаешь больше, то и в самом деле видишь, как все распадается на различные виды, а затем, в структуре более членораздельной теории, они даже и встречаются как будто в других местах, если, конечно, теория пра-

вильная. Итак, есть свойства, связанные с ЛФ и более поверхностные.

Если посмотреть на свойства, относящиеся к поверхности, то, как правило, это периферийные явления, явления, относящиеся к краю конструкции. Скажем, указание на определенность, как правило, встречается на краю выражения (возьмите, к примеру, сдвиг объекта (*object shift*), передвижение к краю глагольной составляющей, дающее определенность, указание на то, что информация старая, и пр.). И есть еще такая традиция, ее трудно представить в ясной форме, но в ней явно что-то есть, и она гласит, что поверхностный субъект чаще оказывается более или менее определенным; исключения бывают, но все же он тяготеет к конкретной интерпретации. Быть может, это, по сути, то же самое. Реальный фокус – это тоже периферийный феномен, с левой периферии, да и все эти вещи, как представляется, имеют некое периферийное качество. В то же время другая категория семантических свойств вроде бы не является смешенной к краю; она больше связана локальными отношениями с другими элементами, которые приписывают это семантическое свойство; именная группа связывается с глаголом, с предлогом или еще с чем-то подобным. Это дает тета-отношения. Если так работает система мышления, значит, она ищет информацию двух видов: один связан с краем, другой связан локально. Тогда хорошо сконструированные языки будут иметь свойство смешенности. Выражение должно будет каким-то образом различать эти виды информации и, действительно, оптимальным способом достижения этой цели будет – просто прибегнуть к смешению; фонетически выражения интерпретируются с краю,

хотя семантически (тематически) они интерпретируются в локальной позиции, в позиции, где происходит операция *Merge* ‘объединить’. В этом заключается убедительное объяснение, внешнее объяснение того, почему языки имеют свойство смещенности.

Ну, а свойство надо как-то реализовать. Как его реализовать? Для того чтобы оно заработало, необходимо указать несколько вещей. Тут мы входим в положение, внутреннее по отношению к вычислительной системе. Это как если бы мы поставили инженеру задачу «реализовать свойство смещенности», потому что системе оно необходимо. И как же это сделать? Нужно найти цель смещения; похоже, что все приводится в движение вершинными элементами, так что давайте будем из этого исходить. Если найдена цель смещения, которой будет какая-то вершина, то тогда нужно ее выделить по какому-то свойству, что заодно определит, какой элемент будет к ней притягиваться: именная группа, группа вопросительного элемента, еще какой-то элемент? Далее, нужно, чтобы эта вершина предоставляла позицию для смещения: некоторые вершины предоставляют, некоторые – нет. И еще вам нужно найти, что смещать. Таким образом, должны быть три вещи: вам нужны три свойства, а в формальных терминах – три признака; термин «признаки» попросту означает свойства, которые вводятся в вычислительную систему. И инженер признает: «Хорошо, мне нужны три признака»: признак, выделяющий цель и определяющий, какое выражение может к ней передвинуться, признак, выявляющий, что именно смещать, и признак, решающий, есть при целевом элементе свободная позиция или ее нет. Действительно, объект передвижения выявляется по структурному

падежу, цель выявляется по избыточным свойствам — согласовательным признакам, если она притягивает именную группу, а свободная позиция — это свойство ПРП. Во всем этом всегда считался каким-то непонятным этот самый принцип расширенной проекции (ПРП) (*extended projection principle* — EPP); «расширенной» потому, что никакая семантическая роль не задействуется; роль заключается в том, что «вот вам позиция, можете на нее смещаться», на этой позиции элемент интерпретируется как смещенный. Так что, кажется, что вам нужны три свойства, а имеются у вас три неинтерпретируемых словоизменительных признака; по меньшей мере, это говорит о том, что неинтерпретируемые признаки присутствуют именно для того, чтобы реализовать смещенность.

Есть еще кое-какие основания так думать. Одним из свойств вычислительной системы является то, что в минимальном варианте от нее требуется удовлетворять условие интерфейса: выражения должны поддаваться интерпретации на стыке. Нельзя, чтобы на стыке с другими системами присутствовали вещи, которые эти системы не смогут прочитать. Например, на сенсомоторном уровне не должно быть слов, не переписанных фонетически, поскольку сенсомоторная система не знает, что делать с такими словами: нельзя выдавать, например, орфографическое слово. И то же будет верно со стороны мышления: надо исключить неинтерпретируемые признаки. Значит, вычислительная система все эти признаки как-то устраниет, но как она их устраниет? Естественный ответ: устраниет их тогда, когда они сделали свое дело. Если это дело заключается в том, чтобы реализовать свойство смещенности, то, когда они его сделают, надо их устраниТЬ.

И похоже, что именно так все и действует. И сделав дело раз, эти признаки не могут сделать его еще раз: выполнив условие структурного падежа, нельзя выполнить его снова где-то еще. С согласованием чуть похитрее, поскольку система, по-видимому, проделывает его много раз, на что есть свои внутренние причины, и все же если один раз согласовательный признак оприходовали, то, например, выше он уже ни с чем согласоваться не сможет. Он застывает на месте. И все эти вещи приложены друг к другу таким образом, чтобы придать некоторое правдоподобие идеи о том, что они не несовершенства, что они складываются в оптимальный способ удовлетворения внешнего требования, удовлетворения условий интерфейса. Мне не кажется, что такая аргументация может кого-то сразить наповал. Это аргументация, построенная так, чтобы выглядеть правдоподобно, но она имеет некоторую силу, и если она верна, то тогда окажется, что словоизменительная морфология не является несовершенством. Кое-что в ней, как число при существительных, совершенно естественно, это пример удачной конструкции; другие компоненты, как, скажем, структурный падеж или согласовательные признаки при других элементах, по-видимому, делают работу, которую вычислительная система должна выполнить, и, надо сказать, делают ее неплохо.

Делают-то они ее неплохо, но порой это ведет к странностям: так, например, иногда неинтерпретируемая словоизменительная морфология функционирует, несмотря на то, что никакой смещенности нет, с неаккузативными глаголами например. Предположим, мы нашли структуру с целью T , которая имеет и (избыточные) согласовательные признаки, и при-

знак ПРП, но составляющая, которая согласуется с Т, не может сместиться к цели, поскольку что-то другое удовлетворило признак ПРП: может быть, вставной элемент, как в (1), а может быть — составляющая, которая находится ближе к Т и тем самым упреждает смещение в силу условий локальности, как в (2), где позиция, из которой составляющая *to-me*, удовлетворяя ПРП, поднялась в позицию субъекта, отмечена т:

- (1) *There T-seem (to me) to be many people in the room* [Т-кажутся (мне) находящимися в комнате много людей*] ‘Мне кажется, что в комнате много людей’.
- (2) *To-me T-seem t to be many people in the room* [Мне Т-кажутся т находящимися в комнате много людей].

* Первый вариант перевода предложения на русский язык представляет собой искусственную попытку, насколько возможно, передать обсуждаемые особенности синтаксической структуры английского предложения такими средствами русского языка, которые демонстрируют некоторые похожие свойства, безотносительно к стилистическим нормам, регулирующим выбор этих средств в русском языке, и избегая лишь конструкций, которые исключены полностью. Так же построен перевод следующего примера. Второй вариант перевода первого примера более идиоматичен, но при этом в нем не реализованы некоторые существенные в данном случае синтаксические особенности. Из непередаваемых синтаксических особенностей следует указать то, что глагол *seem* одновременно находится в различных синтаксических отношениях с предложной группой *to me*, с составляющей *many people*, которая выступает субъектом предложения, и с глаголом *to be*, который в формальном варианте перевода передан как ‘находящимися’, но в русском предложении это слово обладает существенно иными свойствами. По одной из интерпретаций, *to be* (инфinitив глагола со значением ‘быть, находиться’) является предикатом особого типа зависимого предложения, субъектом которого является *many people*. — Прим. перев.

В английском языке правило образования (2) заблокировано, но в других языках – нет; например, в исландском и в таких итальянских конструкциях, как *A Gianni piacciono i dolci* ‘Джанни нравятся сладости’, это правило работает в согласии с анализом глаголов при экспериенцере [26]. Во всех таких случаях мы имеем «дистанционное согласование» Т и именной группы, которая остается в своей начальной позиции, *many people* в примерах (1) и (2) (или *i dolci* в итальянской конструкции с экспериенцером). Зрительно *many people* и *i dolci* согласуются с целью Т (и отсюда косвенно – с глаголом, который прилегает к Т). Но в соответствии с намеченным сейчас объяснением падеж – номинативный падеж – также приписывается как рефлекс этого согласования; в некоторых языках, таких как исландский, присутствие этого падежа также здимо. В примерах подобного типа мы имеем все элементы, вовлеченные в смещение, но согласующаяся именная группа не смещается. Это результат слепого действия механизмов, «сконструированных» для реализации смещения, здесь заблокированного, потому что ему мешают другие факторы.

В случае же (2) механизмы применяются, но не к тем элементам, которые проявляют внешние признаки согласования, а к цели Т и к *to-me*, причем при последнем будут показатели глубинного дательного падежа, выражающие семантическое отношение, независимое от системы падежного согласования. Иные соображения, в еще большей степени обосновываемые в рамках самой теории, могут указывать на то, что между Т и более близким поднятым дативом тоже есть какое-то «согласование», объясняющее локальное смещение ради удовлетворения ПРП, но согласование

только частичное и потому внешне никак не проявляемое, сообразно с общими принципами.

Вот в этом и заключается направление исследований: пытаться показать, что видимые несовершенства в действительности имеют какую-то вычислительную функцию, какую-то оптимальную вычислительную функцию. И о других случаях тоже нужно подумать. Так, тяжелейшим случаем является фонологическая система: вся фонологическая система выглядит как величайшее несовершенство, она обладает всеми недостатками, какие только можно помыслить. Посмотрите, как единица представлена в лексиконе, без всякой избыточности, включая только то, что нельзя предсказать по правилам. В лексическую единицу не включается фонетическая форма для любого контекста, если ее можно предсказать по правилам; включается только то, что фонология должна знать, чтобы дать результат на выходе, и это очень абстрактное представление, абстрагированное от фонетической формы. Вероятно, что вообще ни один из элементов, фигурирующих в лексической репрезентации, не получает интерпретацию на интерфейсе, т. е. они все являются неинтерпретируемыми признаками. Интерфейс представляет собой некую очень узкую фонетическую репрезентацию, может даже не фонетическую, а слоговую или просодическую репрезентацию. Просодии в лексической единице нет, поэтому она добавляется по ходу дела; то, что есть в лексической единице, не прочитывается на интерфейсе, оно по ходу дела видоизменяется. Вероятно, вся фонология представляет собой несовершенство. К тому же, в определенном смысле у фонологической системы неподходящие вычислительные свойства. Например,

разумным условием вычислительной оптимальности является условие инклузивности, которое гласит, что при вычислениях не должно добавляться ничего нового; вычислительная система просто берет те признаки, которые у нее есть, и перестраивает их; это — самая лучшая система, она и впоследствии не добавляет ничего постороннего. А фонология это условие нарушает, как ей вздумается. Вся строгая фонетика в узком смысле — новая, метрика — новая, все просто добавляется по ходу дела. Если посмотреть на фонетику, то кажется, что она нарушает все разумные вычислительные принципы, какие только можно себе представить. И тогда встает вопрос: фонология — это что, просто какая-то уродливая система? Или она представляет собой нечто вроде словоизменительной морфологии, т. е. оптимальное решение какой-то задачи? И ведь есть такая задача, которую фонология должна удовлетворительно решать, которую должен принимать во внимание инженер, конструирующий язык. Есть генерируемые синтаксические структуры, и они генерируются именно так, чтобы удовлетворять условиям ЛФ, условиям мыслительной системы; а есть сенсомоторная система, у нее свои свойства. Синтаксические структуры должны взаимодействовать с этой «внешней» системой. И инженер будет вынужден найти какой-то способ соотнесения данных синтаксических объектов с данной сенсомоторной системой. Хорошо бы еще показать, что фонология позволяет это сделать оптимальным образом. Это осмыслиенный вопрос; может, чересчур трудный, но определенно осмыслиенный. Лучший ответ, на какой можно надеяться, — да, позволяет. Наверное, когда-нибудь станет возможно превратить это соображение в реалистич-

ный вопрос, в реальный исследовательский вопрос. Такие вопросы даже не возникают, пока не начнешь мыслить в этих терминах, но, возникнув, они оказываются очень даже осмысленными, и, на самом деле, в языке на все можно смотреть таким образом. Тот факт, что параметры существуют, должен из чего-то следовать; почему система не имела просто одного достижимого состояния? Почему параметры такие, а не другие? На то, вероятно, есть свои веские причины, вот только бы понять какие.

АБ и ЛР: То есть свойство смещенности является неотъемлемым свойством естественных языков, и всякая теория языка, если она стремится к эмпирической адекватности, должна каким-то образом его выражать. Что касается вопроса, почему так получилось, вы делитесь предположениями о том, что смещенность, возможно, является оптимальным решением проблемы необходимости присоединения к выражениям двух типов семантических свойств, традиционно называемых глубинными и поверхностными семантическими свойствами.

Ну что же, мы можем развить эти предположения и спросить, почему смещенность оказалась тем решением, которое избрал синтаксис естественного языка. Ясно, что были другие возможности.

Рассмотрим, к примеру, модель, в норме принимаемую в фонологии, согласно которой последовательность единиц располагается по линии на пересечении двух различных плоскостей, таких, что каждая плоскость выражает определенные свойства и одной единице можно одновременно присвоить свойства, выраженные на различных плоскостях.

Интеграция тематических и информационных свойств аргумента могла бы так работать, и одной позиции можно было бы присвоить на одной плоскости, допустим, свойство «пациент», а на другой — «топик» (при этом, скажем, глубинные семантические свойства сигнализировались бы одними аффиксами, а поверхностные семантические свойства сигнализировались бы на месте нахождения другими аффиксами). Впрочем, в общем случае синтаксис естественного языка так, по-видимому, не работает.

Зато он постулирует позиции, уникальным образом выделенные под свойство «пациент» (скажем, по теории тета-ролей Хэйла—Кейзера), и другие позиции, которые уникальным образом выделяются под свойство «топик», а один и тот же элемент фигурирует в одной и той же репрезентации в разных позициях и тем самым подбирает оба интерпретирующих свойства [27]. В этом заключается свойство смещенностии.

Иными словами, естественные языки, по-видимому, предпочитают решать проблему соединения глубинной и поверхностной семантики путем количественного роста реализаций элементов, а не путем роста числа пересекающихся плоскостей или поиска иных способов присвоения различных типов интерпретирующих свойств одной и той же позиции.

Нельзя ли порассуждать, почему язык систематически останавливает свой выбор на этом решении? Может быть, это что-то говорит нам о требованиях, налагаемых интерфейсными системами? Может, сюда как-то относятся требования линеаризации со стороны ФФ? Или какое-то другое ограничение на формат читаемой информации со стороны ЛФ?

НХ: Это очень интересный вопрос, причем возникает он на самых дальних границах нынешнего понимания, так что надо быть очень осторожным в любых выдвигаемых предположениях.

Для начала предположим, что есть только «глубинная» семантика, так что проблема смещения не возникает. Тогда мы спросим: а почему язык (по всей видимости) выделяет семантические роли по конфигурации, а не по отдельным словоизменительным элементам? Вообще-то он вроде бы действует и тем, и другим способом. Так, глубинный падеж (скажем, ablativ) и в самом деле выделяет семантическую роль по флексии, а структурный падеж (номинатив-аккузатив, или эргатив-абсолютив) не несет никакой особой семантической роли. Для элементов со структурным падежом семантическая роль определяется по конфигурации, в типичном случае на основании их отношения к элементу, который их подбирает: например, субъект и объект глагола. То, что это верно, — никоим образом не очевидно; до самого недавнего времени такое различие не признавалось. Но оно представляется корректным. Более того, конфигурационные отношения также, по-видимому, являются одним из факторов, детерминирующих семантическое отношение элемента, имеющего глубинный падеж.

Раз так, значит язык пользуется обоими приемами — и словоизменением, и конфигурацией — при присвоении семантических отношений, совершенно отдельно от вопроса о смещенности. Мы, поэтому, хотим знать, почему это так. Ответ естественно будет искать на стыке между языковой способностью и системами мышления, которые она обеспечивает

информацией. Эти внешние системы, надо полагать, различают разные типы семантических отношений и предпочитают, чтобы они сигнализировались различными способами. Можно идти дальше и строить идеи по поводу того, каковы могут быть эти свойства системы мышления. Тут мы уже углубляемся в очень сложную область, ведь, как известно, что-то выяснить об этих системах, помимо их взаимодействия с языковой способностью, очень трудно. Мы задаем вопрос о мышлении без языка, если пользоваться традиционной формулировкой этого понятия, часто отвергаемого, хотя, как мне представляется, что-то в этом роде явно существует.

Если обратиться к вопросу о смешенности, то опять-таки возникает вопрос по поводу конфигурации либо словоизменения. Почему язык сигнализирует «поверхностную семантику» конфигурацией, а не словоизменительной системой по типу глубинного падежа? Опять же, ответ нужно искать на стыке. Так, мы можем спросить, требуют ли внешние системы, чтобы поверхностная семантика оказывалась вместе с глубинной семантикой, не сигнализируемой морфологически средствами глубинного падежа, и если требуют, то почему. Но здесь есть и другие варианты. Если бы поверхностная семантика сигнализировалась путем словоизменения, то глубинная морфологическая система была бы сложной. Для элементов с глубинным падежом грамматических показателей было бы два при наличии у них выраженных поверхностно-семантических свойств; у элементов без глубинного падежа в том же самом случае грамматический показатель был бы только один. Если же поверхностные свойства сигнализируются посредством

конфигурации, с краю, то тогда морфологическая система повсюду будет единообразной: всегда один падежный показатель (не важно, реализованный фонетически или нет). Возможно, что и это является каким-то фактором.

Имеют ли значение требования линеаризации со звуковой стороны? Может быть. Для того чтобы эта тема получила развитие, нужно обратиться к языкам с более свободным порядком слов и (как правило) с более богато проявленной словоизменительной морфологией — те самые языки, которые иногда называют «неконфигурационными» (хотя этот термин, вероятно, неточен).

Ответа нет: скорее, есть некое предположение относительно того, где искать ответы на вопросы, которые определенно возникают, и интересным образом, особенно в контексте серьезного развития минималистской проблематики.

АБ и ЛР: Если верно, что характерным конститутивным признаком естественных языков является придание особого положения репрезентациям с множеством выделенных позиций, каждая из которых обладает простыми интерпретирующими свойствами, то тогда становится важно нарисовать как можно более точную и дробную карту этой сложной системы позиций. В этом заключается логическое обоснование так называемых картографических исследований, которые интенсивно развиваются в ряде исследовательских центров в Италии и в других странах. Как, по вашему мнению, это начинание соотносится с тематикой и целями, которые преследует Минималистская программа?

НХ: Эти работы привели к интереснейшим результатам во многих областях. В первом приближении, предложение можно представить в общей форме [...С....[...Т....[... V...]]], где V – это глагольная вершина конфигурации, в которой присваиваются глубинные семантические роли, Т – это локус временной структуры и структуры события, а С (дополнитель) – это что-то вроде индикатора иллокутивной силы, различающего декларатив, интеррrogатив и пр. Но картографические изыскания очень ясно дали понять, что это лишь первое приближение: позиции, обозначенные многоточием, имеют богатую структуру. К «левой периферии» относятся не только индикаторы иллокутивной силы, сами по себе дифференцированные, но еще и, по крайней мере, фиксированные позиции для топика и фокуса; а иерархия Чинкве выстраивает очень детальный и, по-видимому, универсальный порядок структур в области Т–V [28]. Другие незавершенные исследования позволяют многое понять в позиции Т и левее, в которых различным образом размещаются клитики и грамматические показатели; также выявляются видимые параллели между конфигурацией, основанной на Т, и конфигурацией, основанной на V. Нет никаких очевидных причин, во всяком случае, причин, очевидных для меня, в силу которых факты языка распределялись бы именно таким образом, так что мы вновь подходим к таким же вопросам, как те, что вы поднимали по поводу конфигурационных либо морфологических решений, но здесь на местности с гораздо более богатым и разнообразным рельефом.

Такие работы подводят нас к необходимости более скрупулезно изучить природу интерфейсных отно-

шений; традиционное допущение относительно двух интерфейсов — звука и смысла, — судя по всему, является только приблизительным. И, сверх того, они подводят нас к исследованию самих «внешних» систем и условий, которые налагаются ими на удачно сконструированную языковую способность. Как это часто бывает, эти вопросы имеют прецеденты в традиции, но теперь к ним, кажется, можно обращаться, имея более твердые исходные позиции и с более определенной перспективой их решения, в немалой степени благодаря таким начинаниям, как картографические проекты.

АБ и ЛР: А какое эмпирическое открытие могло бы привести к отказу от сильного минималистского тезиса?

НХ: А его, кажется, все феномены языка опровергают, так же как когда-то казалось, что феномены физического мира опровергают тезис Коперника. Вопрос в том, настоящее ли это опровержение. На любом этапе развития любой науки есть ощущение, что большинство феноменов ее опровергают. Люди говорят о Попперовом понятии фальсификации так, как будто это осмысленное предложение освободиться от теории: ученый пытается найти данные, опровергающие теорию, и если такие данные находятся, то теорию бросают. Но ведь ничего так не работает. Если бы исследователи придерживались этих условий, то у нас бы вообще никаких теорий не было, потому что любая теория, вплоть до элементарной физики, на первый взгляд, опровергается тоннами данных. Так и в этом случае: на что ни посмотришь, — все опровергает сильный минималистский тезис. Вопрос, как

и во всех этих случаях, заключается в том, нельзя ли посмотреть на феномены, которые представляются опровержением теории, как-то иначе, с тем чтобы сохранить или, еще лучше, — увеличить ее объяснительную силу, причем часть феноменов встала бы на свои места, а все прочие, как большинство феноменов этого мира, оказались бы не имеющими отношения к делу, поскольку они представляют собой просто результат взаимодействия слишком большого числа факторов? Такова одна из причин, почему люди ставят эксперименты. Эксперименты проводят затем, чтобы избавиться от несущественных феноменов: смысл эксперимента заключается в том, чтобы попытаться отбросить большинство феноменов и выявить именно те, которые имеют значение. Эксперимент — это в высшей степени творческий акт, это как созидание теории. На курсах по методологии об этом, может быть, и не говорят, но ученый-практик определенно это знает. Придумывать нужный эксперимент очень трудно. Первый эксперимент, который приходит вам в голову, обычно никуда не годится, поэтому такой эксперимент вы отбрасываете и пытаетесь найти какой-то более подходящий эксперимент и т. д. Отыскывание подходящего эксперимента очень похоже на отыскание подходящей теории и в действительности теснейшим образом с таким отыском связано: серьезная постановка экспериментов всегда направляется теорией, иногда для того, чтобы ответить на вопросы, возникающие при поиске объяснения, а иногда потому, что вы видите, что феномены вроде бы опровергают ваши теории, и хотите определить, не является ли это просто артефактом. Феномены, не подвергшиеся анализу, в действительности

не имеют большого значения сами по себе. Важны результаты правильно построенных экспериментов, а «правильно построенный» – значит построенный в рамках самой теории. И это верно независимо от того, является ли предметом эксперимента отношение между передвижением и реализацией грамматических признаков, или овладение языком, или что-то еще.

Возьмем конкретный пример из области лингвистики и когнитивной психологии, который был совсем неправильно понят, – эксперимент по смещению щелчка, который проводили Бивер, Фодор и Гарретт [29]. Идея заключалась в том, чтобы посмотреть, можно ли найти границы синтагмы перцептивно, глядя на смещение щелчка. Итак, вы проигрываете участок пленки, вставляете куда-нибудь шум, спрашиваете людей, где он им послышался, и оказывается, что они слышат шум не в том месте, где он прозвучал, он им слышится куда-то смещенным. Возможно, щелчок смещался на край синтагмы в силу какого-то гештальтного свойства, гласящего, что вы стараетесь выдержать смычку, не хотите прерываться посреди цельной единицы и поэтому перцептивно вы смещаете щелчок на край этой единицы. Если бы получалось именно так, это был бы интересный способ нахождения границ синтагмы. Бивера, Фодора и Гарретта интересовали трудные случаи, вроде контекстов падежного маркирования в виде исключения: есть там подъем объекта или нет и т. д? Скажем, если взять предложение *John expected Bill to leave* ‘Джон предполагал, что Билл уйдет’, то где граница синтагмы? После *Bill* или до *Bill*? Это реальный вопрос, и экспериментаторы действовали совершенно разумно: для начала давайте устроим такой эксперимент, чтобы он точно получал-

ся; если у нас будет эксперимент, к которому у нас будет доверие, поскольку он работает в случаях, где мы знаем ответ, то тогда мы его применим к случаю, в котором ответ нам не известен. Так они и сделали. Они провели много разных экспериментов, но то, что они опубликовали, представляло собой попытку показать, что эксперимент получился, а не выдать новые результаты. Иными словами, вам же не нужен эксперимент, который будет давать неверные результаты в ясных случаях, т. е. такой, что в предложении *John saw Bill* ‘Джон увидел Билла’ он поместит разрыв между *saw* и *Bill*. Вначале надо найти такой эксперимент, чтобы он работал. Предположим, оказалось бы, что щелчок неизменно смещается в середину синтагмы. Тогда это был бы тоже неплохой эксперимент, но интерпретировать его надо было бы по-другому: гештальтное свойство заключается в том, что щелчок вы смещаете в середину; нам удалось это продемонстрировать, потому что именно так происходит на самом деле. Испытывать эксперимент и решать, как его интерпретировать, — это довольно большая часть работы. Более того, в случае щелчка вся работа, в сущности, заключалась в этом. Ну а когда у них вроде бы что-то получилось (смещение на край), они попробовали этот эксперимент на трудном случае; к сожалению, он не дал каких-то однозначных результатов, поэтому дальше решили особенно не продолжать. Но это показывает, какие бывают эксперименты.

И вот при истолковании этого были допущены серьезные ошибки. В частности, У. Куайном, который уже давно, с 1940-х гг., очень интересовался методологией лингвистики. Одно время он доказывал, что границы синтагмы — это просто артефакт, так же как

в формальном языке, эту модель он явно имел в виду, как бывает довольно часто [30]. Для формальных языков нет «правильного» способа грамматического описания; грамматика произвольна, выбирай, какую хочешь. И по аналогии в языке лингвист может выбрать любую грамматику в зависимости от той или иной задачи или интереса; единственная реальная вещь — высказывания. Такая аналогия — изначально ложная; человеческие языки — это биологические объекты. Что в них реально, т. е. что находится в мозгу, — это конкретная процедура, призванная давать характеристику информации о звуковой, смысловой и структурной организации языковых выражений. Выбор теоретического описания не более произволен, чем в случае описания органов зрения или иммунной системы. Но, развивая аналогию с формальными системами, еще году в 1970-м, Куайн в одной статье по методологии лингвистики доказывал, что «безрассудно» исходить из того, что существует какой-то реальный ответ на вопрос о том, где в пределах чего-то, имеющего форму ABC, находится граница синтагмы: она может быть как между B и C, так и между A и B. Это же как выбирать систему аксиом для арифметики: как хочешь, так и выбирай. Затем, когда были опубликованы результаты экспериментов с щелчком, Куайн передумал и сказал: «Вот теперь это реально, поскольку эксперименты с щелчком показывают, каков ответ на самом деле». Здесь-то и заключается серьезная ошибка в истолковании. В работах по щелчкам, на которые ссылается Куайн, испытывался эксперимент, а не структура непосредственных составляющих. Если бы результаты экспериментов с щелчком выдали неверную структуру непосредственных составляющих

в ясных случаях, то это бы свидетельствовало только о том, что эксперимент построен неудачно. Нельзя было бы сказать на этом основании: «Границы синтагмы проходят в середине слова, а не там, где думали лингвисты». Предположим, что щелчок всегда слышится в середине предложения и потому обычно в середине слова. С точки зрения Куайна, следовало бы сказать: «Значит, там и проходит граница синтагмы». Но с точки зрения любого ученого, вы бы уж скорее сказали: «Да ведь эксперимент-то никуда не годится». И в действительности, если бы щелчки смешались к середине синтагмы, вам бы просто пришлось иначе истолковать эксперимент. Действуя в рамках эмпирических наук, надо всегда вначале протестировать эксперимент, и это трудно; большинство экспериментов просто не имеют отношения к делу, и найти экспериментальную процедуру, которая действительно имеет смысл, очень сложно. Это задача, решаемая в рамках самой теории, и часто ее приходится брать на себя потому, что вам кажется, будто феномены окружающего мира всё опровергают, и вы хотите обнаружить, не обманчива ли видимость и как она вводит в заблуждение.

Вернусь к вашему вопросу после долгого отступления. Если вы хотите знать, что, как кажется, опровергает сильный минималистский тезис, то ответом будет — все, что вы можете себе представить или случайным образом выбрать из корпуса материала. Ничего особенно интересного в этом нет, поскольку это нормальная ситуация в науках, даже самых передовых. Опять же, это одна из причин, в силу которых люди проводят эксперименты, являющиеся принципиально важной частью «галилеевского стиля»: толь-

ко эксперименты имеют значение, и притом только хорошо спланированные, такие, которые укладываются в разумную теорию. Именно они дают те сведения, с которыми можно считаться, а то, на что вы натыкаетесь случайно, не имеет никакого значения. Лингвистикой так не занимались до относительно недавнего времени. Когда я был студентом, общая идея заключалась в том, чтобы собрать некий корпус и пытаться его организовать, дать структурное описание его. Корпус можно было в минимальной степени преобразовывать методами полевой лингвистики — «процедурами работы с информантом», призванными, в основном, установить пределы распространения частичных закономерностей в наблюдаемых образцах. Но не существует методов обнаружения таких данных, которые имели бы хоть какое-то отношение к получению ответов на предопределенные теорией вопросы по поводу природы языка. Это творческий акт.

И вот с этой точки зрения корпус не имеет значения, это как с явлениями, которые вы можете увидеть за окном. Если вы найдете в корпусе какое-то интересное явление, прекрасно. Затем вы будете его исследовать методами, которые равнозначны проведению экспериментов. Но на самом деле из числа наиболее интересных работ многие были о таких вещах, которые в речи никогда не услышишь, вроде паразитических пробелов, к примеру. Вы можете тысячи лет слушать и ни разу не услышите паразитический пробел, но, кажется, именно это-то как раз и важно. Подчас бывают действительно поразительные результаты, как в работе Дайен Джонас по диалектам фарерского языка [31], где она нашла различия, которых никто не ожидал, и проявлялись

они по большей части в таких вещах, как переходные конструкции со вставным элементом, которые почти не встречаются, а если и встречаются, то носители языка произносят их довольно неуверенно. И все же оказалось, что имеются систематические различия в одной категории конструкций в областях, о которых у людей было очень мало информации и, более того, они и сами не знали о такого рода диалектных различиях. Это аналогично случаю с паразитическими пробелами... Что, кстати сказать, является нормой в экспериментальных науках: феномены, которые оказываются действительно интересными, — это не нормальные феномены мира, они обычно бывают очень экзотичными.

3. Объяснительная адекватность и объяснение в лингвистике

АБ и ЛР: В трактовке целей научной лингвистики важным концептуальным различием, введенным в начале 1960-х гг., стало различие между двумя уровнями эмпирической адекватности: дескриптивная адекватность, достигаемая тогда, когда фрагмент грамматики корректно описывает какой-то аспект компетенции носителя языка, и объяснительная адекватность, которая достигается, когда дескриптивно адекватный анализ довершается правдоподобной гипотезой о приобретении этой компетенции. Минималистская программа дает понятию минималистского объяснения такую характеристику, согласно которой, если процитировать ваши «Минималистские изыскания» («Minimalist Inquiries» [32]), «система,

оптимальным образом удовлетворяющая очень узкому подмножеству эмпирических условий — тем, которым она должна удовлетворять для того, чтобы быть пригодной хоть к чему-то, — оказывается удовлетворяющей всем эмпирическим условиям» (с. 9). Ясно, что минималистское объяснение — это понятие, отличное от объяснительной адекватности: объяснительная адекватность в указанном выше специальном смысле могла достигаться системой, не соответствующей минималистским потребностям (к примеру, допущение о существовании врожденного списка островных ограничений достигало объяснительной адекватности в некоторых областях не хуже, чем простой унифицирующий принцип локальности, но только этот последний, вероятно, соответствует минималистским нормам). Как вы видите отношения между этими двумя понятиями объяснительной адекватности и минималистского объяснения?

НХ: Работы, в которых развивалась модель «списка островов», конечно же, были из числа наиболее значительных в 1960-е гг. Когда проявилось напряжение между дескриптивной и объяснительной адекватностью, подходов было несколько. Один подход — он представлен в «Актуальных проблемах лингвистической теории» («Current Issues in Linguistic Theory» [33]) — заключался в том, чтобы пытаться найти принципы типа А над А, собственно, и остров *wh*-относился сюда же, и пара других моментов. Другой подход — давать таксономию свойств — это, в общем, диссертация Росса [34], таксономия островов, и интересная работа Эммана Баха, в которой он доказывал, что для ограничительных относительных предложений должны быть свои особые принципы, может

быть, и повсеместно в языке, а для других конструкций — другие наборы принципов. Это просто два различных интуитивных предположения о том, что получится в итоге; и на самом деле, таксономия островов Росса была чрезвычайно полезной, своим исследованием он внес основополагающий вклад в науку, к нему все всегда возвращаются, но при этом он развивал совсем другое интуитивное предположение, именно такое, какое вы сейчас изложили. Мне представляется, что вы заметили совершенно правильно. Если некая система условий с унифицирующим принципом локальности, налагаемых на правила и конструкции, окажется верной относительно языка, то тогда только этот принцип локальности будет удовлетворять минималистским нормам, а надежды, которые возлагались на программу, будут обмануты: мы просто не можем метить так высоко в своих объяснениях — разве что удастся найти какие-то независимые толкования для других постулированных свойств, что представляется весьма маловероятным — и основные аспекты языка останутся без объяснения. Конечно же, и тогда надо будет придерживаться методологического императива искать наилучшую теорию этого биологического органа, каким бы «несовершенным» он ни был. Моя точка зрения заключается в том, что мы можем надеяться на нечто гораздо большее, но это мое личное суждение.

Исходя из этого, мы можем рассмотреть ряд минималистских тезисов различной силы. Один из них, о нем заходил разговор на семинарах в Сиене, гласит, что любой возможный язык отвечает минималистским нормам. А это означает, что не только языковая способность, но любое состояние, какого она

может достигнуть, дает бесконечное число интерпретируемых выражений. В сущности, это равносильно утверждению, что при овладении языком нет тупиковых путей. Невозможно установить параметры таким образом, что получится система, неспособная обеспечить бесконечное удовлетворение условий интерфейса. Это далеко не очевидно: это накладывает на систему сильное условие. Допустим, это условие выполняется: минималистские условия имеют силу для всех состояний языковой способности, включая начальное состояние. Проблема тут не в объяснительной или дескриптивной адекватности. Это различие стандартно можно выразить, принимая дескриптивно адекватную теорию как истинную теорию достигнутого состояния, тогда как объяснительно адекватная теория является истинной теорией начального состояния. И в этой перспективе наблюдается резкое различие между начальным состоянием — предметом универсальной грамматики — и достигнутыми состояниями, реальными языками. Впрочем, как мне кажется, по крайней мере в рамках подхода ПиП более разумно забыть об этом различии: языковая способность просто принимает какие-то состояния; одно такое состояние — это начальное состояние; прочие — это стабильные состояния, которых люди каким-то образом достигают, а в промежутке между ними есть еще разного рода иные состояния, которые также являются реальными состояниями, просто это другие языки. Если сильное условие «отсутствие тупиковых путей» выполняется, то минималистский тезис говорит о том, что все состояния будут удовлетворять условию бесконечной читаемости на интерфейсе — и притом оптимальным образом, насколько сильный

минималистский тезис остается в силе. Это относится к объяснительной и дескриптивной адекватности, поскольку имеет силу как для начального состояния, так и для достигнутых состояний. То есть адекватность будет и дескриптивной, и объяснительной, но это различие, в общем-то, можно отложить в сторону. Что хорошо в подходе ПиП, чего я, по крайней мере, в то время не понимал, — это то, что он, в сущности, уничтожает принципиальное различие между начальным состоянием и достигнутыми состояниями. В более ранний период казалось, что это принципиальное различие, и принципиальное оно в том смысле, что начальное состояние — это экспрессия генов, а все прочие — не совсем; однако с точки зрения адекватности теорий это различие не имеет значения: адекватная теория нужна для них всех, они все должны быть дескриптивно адекватными, т. е. истинными теориями любого описываемого состояния (а если это состояние начальное, то как раз оно и называлось объяснительной адекватностью). Если минималистский тезис имеет силу, то он будет иметь силу для всех состояний, по крайней мере, исходя из принципа «отсутствия тупиковых путей». На самом деле эти вопросы еще находятся в процессе формулирования, параллельно с попытками — как мне кажется, небезуспешными — показать, что в некоторых областях можно приблизиться к жестким минималистским условиям, а иногда и достичь их.

АБ и ЛР: Если на мгновение сохранить это классическое разграничение, то часто говорится о напряжении между целями дескриптивной и объяснительной адекватности, поскольку первая, как правило, располагает к обогащению дескриптивного инструмен-

тария, тогда как вторая располагает к ограничению и обеднению дескриптивного аппарата. Нам представляется, что отчасти аналогичное напряжение может возникнуть между требованиями объяснительной адекватности (в классическом смысле – адекватности при обращении к логической проблеме овладения языком) и минималистского объяснения. Можно себе представить, что менее структурированная, а оттого более близкая к минимальной системе допускала бы больше альтернативных способов анализа первичных данных, тем самым усложняя задачу для усваивающего языка. Чтобы дать конкретный пример, рассмотрим теорию непосредственных составляющих, разрешающую только один спецификатор для каждого вершинного элемента, и теорию, допускающую множественные спецификаторы. Хотя этот момент не вполне очевиден, можно было бы отстаивать утверждение, что вторая теория минимальнее, поскольку не имеет детализации, которой обладает первая. Но посмотрим на проблему с точки зрения овладения языком: усваивающий язык слышит выражение с n синтагмами, и их необходимо интегрировать в структурную репрезентацию. Согласно первой теории, у него или у нее выбора не будет: надо исходить из наличия n вершин, разрешающих синтагмы в качестве спецификаторов. Согласно второй теории, у него или у нее априори будет множество вариантов, начиная от наличия единственной вершины с n спецификаторами и заканчивая n вершинами, каждая с одним спецификатором. Конечно же, это принципиальным образом связано с вопросом о том, что может представлять собой возможная вершина, и на практике бывает много других осложнений, но мы привели этот пример просто для

того, чтобы указать, что тут может возникнуть некоторая напряженность. Как по-вашему, возникает ли эта напряженность на самом деле?

НХ: Она может возникать. Минималистские вопросы касаются существа дела: в них спрашивается, оптимально ли истинные теории состояний языковой способности удовлетворяют условию интерфейса. Если предлагаемая теория дает в качестве вариантов такие языки, которые не могут существовать, значит эта теория просто неправильная. Тот же вывод сохраняет силу в том случае, если предложение не дает решения для логической проблемы овладения языком. Так что первым условием, которое должно выполняться, является истинность для всякого состояния языковой способности. В начальном состоянии это условие называется объяснительной адекватностью, в позднейших состояниях — дескриптивной адекватностью. Сейчас эта терминология, по-моему, в основном уже бесполезна; как я сказал, значение имеет только истинность. Конечно же, дело обстоит не так, будто нам дана истина, а мы затем задаем минималистские вопросы: жизнь не так проста. Минималистские вопросы задаются для того, чтобы реконструировать понятие о том, что вероятно истинно, и т. д. и т. п. Рассуждая логически, условие на заднем плане должно заключаться в том, что у вас есть истинная теория.

Возьмем, например, тот случай, что вы упомянули. В литературе по актуальным вопросам есть статьи об этом. В «*Linguistic Inquiry*» недавно была статья, в которой автор утверждал, что его метод не требует специального допущения о существовании множества спецификаторов. Однако это ставит вопрос задом наперед: специальным допущением является

допущение о том, что спецификатор только один; если сказать, что спецификаторов может быть сколько угодно, то никакого допущения здесь не будет, это будет означать только то, что продолжать объединять можно бесконечно: это лишь констатация того факта, что язык представляет собой рекурсивную систему. Сказать, что спецификатор может быть только один и не больше, — это значит задать условие, что, выполняя операцию объединения дважды, необходимо начинать новую категорию: это специальное обогащающее допущение. Так что вопроса о том, чтобы избавиться от дополнительного допущения о множественности спецификаторов, не возникает; напротив, необходимы основания для специального допущения того, что к вершине могут прикрепляться только два предмета. Селекционные свойства корневых узлов, возможно, — и даже наверняка — налагают условия на множественное объединение с одной вершиной. Однако понадобятся сильные аргументы для того, чтобы показать, что то же условие необходимо заново формулировать, независимым образом, в рамках теории непосредственных составляющих, усложняя эту теорию, причем во многом излишне.

В голой теории непосредственных составляющих различие между дополнением и спецификатором исчезает, никакой разницы нет: это просто первое объединение, второе объединение, третье объединение и т. д. Так что, с этой точки зрения, анализ, который я давал, во многих случаях просто не имеет смысла. Возьмем, к примеру, прилагательные; я когда-то переживал, что непонятно, является ли элемент, избираемый прилагательным, дополнением вершины или спецификатором вершины, это довольно-таки

разные вещи, но в голой теории вопрос отпадает. Просто нечто прикрепляется к вершине; если это первое объединение, то мы называем его дополнением, но это ничего не значит, дальнейшие вопросы отпадают. И запись, которой мы пользуемся, скорее вводит в заблуждение; если мы обозначаем что-нибудь как спецификатор, то мы ставим его перед вершиной, если как дополнение, — то после вершины: в чистой системе эти различия незначимы. И, таким образом, понятия дополнения и спецификатора полностью исчезают, сохраняясь разве что как удобные термины: какие-то вещи у нас будут объединяться первыми, какие-то вторыми и т. д.

Так вот, допустим, что система у нас простейшая, а значит, на то, сколько раз разрешено объединять, не налагается никаких дополнительных условий: можно раз, можно два раза, тогда это будет называться спецификатором, можно три раза, и тогда мы станем говорить о множественных спецификаторах, и т. д., объединяйте столько раз, сколько захотите, система — проще не бывает. И, конечно же, вам захочется знать: а это правда? Язык, что, совершенен в этом отношении? Или же в нем имеется вот это самое дополнительное требование, что объединять можно только n раз, применительно к некоторой фиксированной вершине, возможно, дважды? Давайте вернемся к ребенку, усваивающему язык. Если ребенок овладевает языком и принцип универсальной грамматики диктует ему, что объединять можно сколько угодно раз, то он нормально воспринимает объединения, а если слышит, что подходит что-то третье, то вот тут, вы правы, у ребенка будет два варианта. Один — сказать: «Ну что ж, это третье объединение»; другой — посту-

лировать новую вершину. Но ведь это трудный выбор: для того чтобы постулировать новую вершину, нужно иметь основания, надо знать, что это за вершина, ее найти где-то надо, а если это еще и нулевая вершина, что вполне возможно в данном случае, то совсем трудно. А если еще это такая вершина, что у нее и семантики никакой нет, то тогда беда, потому что в ходе вычисления эта вершина должна будет исчезнуть, у вас останется категория без вершины, и вам по этому поводу придется что-то придумать. Если существует какое-то универсальное множество вариантов, скажем, иерархия Чинкве, то из нее можно будет что-нибудь подобрать, но тогда должно быть какое-то семантическое следствие и надо иметь данные, свидетельствующие об этом. Так что мне не кажется, что это вопрос более трудного или более легкого выбора, это просто неодинаковый выбор. Если в универсальной грамматике есть иерархия Чинкве и нет никаких ограничений на объединение, то, когда вы дойдете до этого третьего элемента, ребенку придется спросить, обладает ли он семантикой чего-то из этой иерархии. Если обладает, то там ему и место; если нет, то просто объединять надо внизу, и дело с концом.

А теперь подойдем иначе: предположим, что теория непосредственных составляющих усложняется наложением (во многом избыточного) требования однократного или двукратного, но не троекратного объединения. Тогда ребенок будет вынужден найти другую вершину; а если поблизости нет ничего, что имело бы какой-либо смысл, значит, такую вершину просто придется придумать, и это более трудная задача. Так что я не думаю, чтобы конфликт прекращался подобным образом. Мне представляется, что есть раз-

личные фактические допущения по поводу природы языка. Имеются ли в наличии вершины с такой семантикой, чтобы ребенок что-то к ним присоединял, будь то третье объединение или четвертое?

На самом деле, тот же вопрос возникает и применительно ко второму объединению. Предположим, ребенок допускает первое объединение при вершине, а затем подходит второе выражение. Будем исходить из такой универсальной грамматики, в которой нет ограничения на спецификаторы и есть иерархия Чинкве. После первого объединения, когда подходит второе выражение, ребенок сталкивается с тем же самым вопросом: а имеет ли это выражение семантику одной из позиций иерархии, поскольку оно имеет какую-нибудь аспектную интерпретацию или что-то подобное? Если имеет, ну что же, тогда ребенок должен постулировать новую вершину; в противном случае этот элемент является спецификатором первой вершины. И точно такой же вопрос встает при третьем объединении, четвертом объединении и т. д. Ситуация, о которой вы упомянули, может возникнуть, и в этом случае это будет вопросом истинности; а истина может заключаться в том, что структура непосредственных составляющих у вас более сложная, с условиями, налагаемыми на число спецификаторов сверх тех условий, которые вытекают из селекционных требований. Возьмите, например, аксиому линейного соответствия (АЛС) [35]. Если эта теория истинна, то структура непосредственных составляющих просто более сложная. Предположим, вы выясните, что управление и правда является действующим свойством. Тогда и теория усложнится. Если принцип пустых категорий и вправду действует, ну что ж, жал-

ко. Значит, язык больше похож на позвоночник, чем на снежинку [36]. Нельзя поменять реальность, можно лишь спросить: не отвечает ли реальность именно вот этим удивительным условиям?

4. Минималистские вопросы и другие области науки

АБ и ЛР: Признавая общий фон методологического минимализма как компонент научного поиска, можно спросить, задаются ли минималистские вопросы по существу дела в других областях науки?

ХХ: Наверное, не очень часто, но в некоторых областях – задаются. В физике и математике, например, есть такая стандартная шутка, что существуют только числа 1, 2, 3 и бесконечность; все прочие слишком сложные, так что, если где-нибудь получается, скажем, 7 или еще что-то вроде того, значит, что-то не так. И надо сказать, это действительно бывает заметно в научной работе. Это, видимо, проявилось при разработке теории кварков: если я правильно помню, когда Мюррей Гелл-Манн и его коллеги задумывали свою теорию, оказалось, что у них есть указания на существование семи кварков, но такой вариант никому не нравился, потому что 7 – слишком уж некрасивое число; так что решили исходить из того, что картину надо реконструировать в терминах чисел 2 и 3, потому что это хорошие числа. И после дальнейшей экспериментальной работы, стимулированной такого рода интуицией, более красивая картина оказалась верной. Думаю, что подобные рассуждения действительно имеют место. В каком-то смысле, примерно

так произошло открытие Плутона. Наблюдались некие возмущения, так что вполне могло оказаться, что просто мир такой неказистый и нужно сочинить некую историю; однако все были очень рады, когда где-то там удалось отыскать постулированную сущность, которая может быть, а может и не быть планетой, — об этом идут дебаты, но что бы это ни было, оно там присутствует и объясняет возмущения, не усложняя физических теорий. Хочется, чтобы система смотрелась хорошо. Возьмите, например, периодическую таблицу. Известные факты не совсем в нее укладывались, но она такая красивая, что просто обязана была оказаться верной, и потому не имело значения, что что-то куда-то не укладывалось. В истории науки известны похожие примеры.

Немало примеров дает химия, которая вообще является достаточно показательной моделью для лингвистики. Многим химикам не нравилось множество элементов и химических атомов в теориях Лавуазье и Дальтона. Хэмфри Дэви, например, отказывался верить, что Бог мог замыслить столь уродливый мир. В то же самое время, в начале XIX в., Уильям Праут заметил, что атомные веса элементов довольно близки к целым кратным атомного веса водорода, и подогнал данные точно под целые числа. «Гипотеза Праута», как ее стали называть, стимулировала активные экспериментальные изыскания, стремившиеся найти точное отклонение атомного веса более тяжелых элементов от целого кратного веса водорода и попытаться найти какое-то объяснение: верна гипотеза Праута или не верна? Построены ли все элементы из водорода, как он предположил? В конце концов, в 1920-е гг. были открыты изотопы, и тогда все стало ясно: стало

ясно, что гипотеза Праута по существу верна. Без понимания изотопов и вообще атомной теории, в данных все вперемешку. Но если вы проанализируете данные в терминах нового теоретического понимания, то вы откроете, в каком именно смысле гипотеза Праута была верна, потому что у вас получится один протон, много протонов, его целые кратные, электроны почти ничего не добавляют, а изотопные эффекты систематически изменяют цифры. Исследования вела вперед надежда, что как-нибудь получится, что этот изящный закон верен и на то есть какая-то причина; в конце концов, причину нашли, и, кстати сказать, немалая часть экспериментальной работы целого века при этом вылетела в окно; больше никому не было интересно, каковы средние отклонения, потому что для них имелось фундаментальное объяснение.

Наверное, на каком-то уровне, галилеевский идеал совершенства природы является движущей силой всякого научного поиска, но в большинстве областей знания он определенно не играет роли направляющей силы в большей мере, чем в лингвистике. Веской причиной является то, что добиться хоть какого-то приближения к дескриптивной адекватности настолько трудно, что дальнейшие вопросы задавать просто нереально.

Посмотрите, например, на недавнее всеохватывающее исследование Марка Хаузера «Эволюция коммуникации» [37]. На самом деле это компаративное исследование коммуникации, сравнивающее системы коммуникации. Он разбирает много различных систем и описывает их в тончайших подробностях. Возьмите танец пчелы. Существуют чрезвычайно подробные описания его, но ведь, по сути, все это напоми-

нает дескриптивную лингвистику. Вопросы, идущие дальше этого, по-видимому, чересчур трудные: какова, например, «порождающая грамматика» танца пчелы, то внутреннее состояние, что допускает именно этот диапазон танцев, а не какой-то иной диапазон? Или вопросы по поводу нервных механизмов, их роли в действии и восприятии, их эволюции. Проблема простого описания достаточно трудна сама по себе, а затем еще надо найти какое-то понимание функции танца. Пойти дальше этого, подобраться к настоящим минималистским вопросам трудно, но в биологии были люди, которые тоже пытались это сделать. Известным примером является Д'Арси Томпсон.

АБ и ЛР: Это ведет к следующему вопросу. Будем считать, что какая-то форма минималистского тезиса верна и человеческий язык является некой оптимально сконструированной системой. Вы часто подчеркиваете, что это крайне удивительный вывод в контексте биологических систем, которые характеризуются как «*bricolage*»* или изделие эволюции — «мастерицы на все руки», по выражению Франсуа Жакоба [38]. Поэтому было бы полезно попробовать разъяснить последствия этого открытия для биологии. Как один из возможных подходов, можно было бы подумать о том, что, по сути дела, язык довольно уникален среди биологических систем, возможно в отношении его комбинаторного характера; однако может быть и так, что язык легко обнаруживает что-то такое, что в биологических системах обычно принимается за исходную посылку, но с трудом поддается обнаружению.

* Поделки, любительские занятия (*фр.*). — Прим. ред.

Может быть так, что роль «мастерицы на все руки» преувеличена? И что на других уровнях эволюционной шкалы «совершенные системы», возможно, тоже уже сложились и существуют, но их трудно вырвать из их биологического контекста?

НХ: По-моему, это вполне разумно. Сегодня это непопулярно, но дело в том, что если вы посмотрите на что-то вам непонятное, то вам покажется, что поработала «мастерица на все руки». Это было верно и применительно к тому, как люди в свое время смотрели на языки. Если вернуться в 1950-е гг., то стандартное допущение — я перефразирую Мартина Джуса, одного из основных теоретиков — состояло в том, что языки могут отличаться друг от друга без предела и произвольным образом. По сути, по поводу языка сказать почти что нечего: возможно почти всё [39]. Точно так оно и выглядит. Если вы рассмотрите многообразие языков в мире, то выглядит это так, будто бы найдется чуть ли не все что угодно. Это было стандартной точкой зрения в структуралистской лингвистике, которая отступала от этого допущения лишь в весьма редких случаях: фиксирована какая-то структура фонемной системы и может быть еще кое-что, может, отчасти морфология, может, какие-то нестрогие условия на синтагмы... но, в сущности, возможно всё. Сепир говорил нечто похожее и, на самом деле, это довольно-таки обычное дело [40]. И это правда: если посмотреть на любое явление, которое вы не понимаете, то именно так все и будет выглядеть. В отношении эволюции все верят, что Дарвин по сути прав, по этому поводу никаких вопросов нет; но сверх того понято не так уж много. Применительно к эволюции видов, лишь в немногих случаях можно продемон-

стрировать, по нормам естественных наук, что естественный отбор действовал, хотя все исходят из того, что это правда. Непросто измерить селекционные преимущества характерных черт. Когда посмотришь на то, что называется «объяснениями естественным отбором», то часто находишь нечто совсем другое. Хорошим источником примеров тут является книга Хаузера. Он пытается продемонстрировать в деталях то, о чем все думают в общем: что естественный отбор функционирует, прежде всего, для того, чтобы выдать и оформить результат. Но аргументация, которую он приводит, этого не показывает. Он берет летучих мышей и показывает, что они обладают удивительной техникой эхолокации: они могут найти летящее где-то насекомое и пулей рвануть прямо на него, ведомые таким эхом, какое антропогенные системы и воспроизвести не могут. Вывод: посмотрите, как прекрасно сработал естественный отбор. Это вполне правдоподобно, но аргументация Хаузера этого не показывает; показывается только то, что эхолокация обладает вот такими прекрасными характеристиками. В недавнем обзоре этой темы в журнале «Science» указывается, что вполне правдоподобно полагать, что зубы пираты развились для резки, «но мы не располагаем прямыми доказательствами, что дело обстояло именно так». Креационист мог бы сказать иррационально, что такими их сделал Бог. Просто, если у вас натуралистический подход к органическому миру, то вы исходите из того, что в значительной степени он является следствием естественного отбора. Описание прекрасного приспособления к потребностям организма – это просто формулирование задачи, подлежащей решению. Задача же вот в чем: дан объект, даны его необычные

свойства, удивительно хорошо адаптированные к выживанию и воспроизведению. Это постановка задачи, а не ответ. А часто это принимается за ответ к задаче, исходя из того, что итог не может не быть результатом естественного отбора. Догма в этом случае довольно-таки правдоподобна (трудно представить себе что-то еще), но это не ответ, и порой если тщательно посмотреть на вещи, то ответом оказывается нечто другое, неожиданное. Вещи такие, какие они есть, а не обязательно такие, как нам виделось. В действительности, в данный момент об эволюционных процессах известно мало, помимо самых основных принципов и огромного количества описательных работ, дающих весьма правдоподобные предположения (вроде эхолокации и зубов пираньи), конечно же, известно множество частностей о том, что делают гены и т. д. и т. п. И все же выглядит это, по большей части, беспорядочно, а никакого беспорядка, может быть, и нет. Может быть, вся эволюция всецело определяется физическими процессами в глубинном смысле, дающими многие свойства, небрежно приписываемые отбору.

Конечно же, когда говорят, что нечто является результатом естественного набора, это не надо понимать буквально. Естественный отбор не может действовать в вакууме; он должен действовать на некотором наборе вариантов, структурированном наборе вариантов, и эти варианты задаются физическими законами и исторически сложившимися обстоятельствами. Экологическая среда находится в определенном состоянии, и она будет накладывать какие-то ограничения: можно представить себе планету, на которой другие экологические условия, и все будет действовать по-другому. Так что есть исторически

сложившиеся обстоятельства и есть физические законы, и вот в этих-то рамках ищет дорогу естественный отбор, прокладывает путь; но никогда дело не может обстоять таким образом, что естественный отбор действует сам по себе. Логика здесь довольно сильно похожа на логику бихевиоризма, как, кстати, указывал Скиннер [41]. Ему казалось, что это довод в пользу его радикального бихевиоризма, что все действует словно неструктурированный естественный отбор: т. е. голубь может выполнить любое действие, демонстрируя любое поведение; вы усиливаете то, которое вам нужно, и голуби у вас будут играть в пинг-понг и т. д. Он доказывал, что это такая же логика, как и при естественном отборе, и это верно, но он упустил из виду тот факт, что естественный отбор требует структурированной среды, структурированных существ и условий, накладываемых законами природы, и то же верно и для голубя. То есть одна и та же логика и одна и та же ошибка в обоих случаях. И это обычное дело. Когда читаешь такие вззволнованные заявления, как «покажите мне удачное строение, и я найду вам естественный отбор», то вот эта дилемма «Бог или естественный отбор», если принимать ее буквально, — это хуже, чем креационизм. Креационизм, по крайней мере, последователен; можно быть рациональным креационистом (Вольтер, Джейфферсон и пр.), можно даже быть неодарвинистом. Рациональный креационист мог бы сказать: хорошо, вот это все произошло в силу естественного отбора, но для того чтобы сделать X, нужен был Бог. В этом бессодержательном утверждении нет никакого смысла, но оно не является бессвязным. С другой стороны, вера в чистый естественный отбор была бы полностью иррациональной;

это равнозначно тому, чтобы допустить, что какой-то процесс отбора мог бы иметь место в вакууме, чего просто не бывает. Всегда дело обстоит так, что происходящее в какой-то мере хотя бы обуславливается физическими законами. Есть что-то вроде «канала», образуемого физическими законами, и, в дополнение к тому, есть исторически обусловленные обстоятельства и т. д. В рамках этих структурированных ограничений естественный отбор может действовать. Ну и постоянно встает вопрос: а в какой степени функционирование канала детерминирует результат? Уж наверное больше, чем в нулевой, только так. В некоторых случаях может приближаться к 100 %. Возьмите тот факт, что у вас везде заметен ряд Фибоначчи. Никто не думает, что в этом случае замешаны либо Бог, либо естественный отбор; все исходят из того, что это результат действия физических законов и сейчас уже есть нетривиальные физические объяснения, почему он везде встречается. То есть от 100 % до какого-то значения – таков эффект «канала».

Ну а когда вам понятно очень немногое и всюду вроде бы полная неразбериха, вот тогда вы и начинаете гадать... ага, видно эволюция – «мастерица на все руки» просто бродит по пространству возможностей, берется за все подряд. Но когда узнаешь больше, может выясниться, что это совсем не правда, может, и вся эволюция вроде ряда Фибоначчи. В современной биологии есть традиция серьезных ученых, которые пытались развить эту идею. Самый знаменитый – это Д'Арси Томпсон [42], который пытался показать, что крупные аспекты природы организмов можно объяснить глядя, по сути, на биофизику: какие возможны формы? Собственно, и Гёте [43] занимался чем-то

похожим. У него были интересные идеи, некоторые из которых оказались правильными, я имею в виду правильными не совсем таким образом, как ему виделось, но по сути правильными: в росте растений всюду снова и снова идет повторение одной и той же структуры, стебля и листа; он, похоже, угадал — это история такая двойственная, но вроде так оно и есть. С Д'Арси Томпсоном это стало настоящей наукой. Этим мало занимались, наверное, потому что это чересчур сложно. Но была открыта традиция. Следующим известным человеком, который ее подхватил, стал Алан Тьюринг [44]. За пределами биологии это известно не слишком хорошо. Тьюринг известен, в основном, своими работами по математике, но он работал и над биологическими проблемами. Он был серьезным ученым, и особо интересовавшей его проблемой было показать, как, если в некой термодинамической системе существует какая-то сингулярность, небольшое возмущение, это может внезапно привести к дискретной системе. Тьюринг интересовался такими вещами, как полоски зебры: почему у зебр полоски, а не все в перемешку? И он пытался построить модели, в которых полоски зебры и т. п. получаются только из физических процессов с крошечным возмущением, которое все меняет. И, по всей видимости, математические модели правильные, так мне говорили. Вопрос, работают ли они в случае с зебрами, — это уже другая проблема, по-моему, современная точка зрения (я не эксперт) такова, что для зебр они, вероятно, не работают, но для морских ангелов, вероятно, все-таки работают. Есть такая рыба, у которой какие-то чудные полоски везде и, по-видимому, модели Тьюринга или какой-то их вариант более или менее это объясняют.

На уровне очень простых систем многое из этого по большому счету принимается без доказательства. Примером является митоз; никто не считает, что есть такие гены, которые указывают делящимся клеткам, как принимать сферическую форму, так же как у вас нет гена, который бы не давал вам прыгать с крыши. Это было бы сумасшествием, вы падаете оттого, что действуют физические законы, и вероятно, физические же законы велят клеткам разбиваться на две сферы. Ну и другой случай, который всеми принимается без доказательства, — оболочка вирусов, которые представляют собой многогранники, а точнее, икосаэдры. Просто в силу чистой геометрии оказывается, что лишь некоторые формы могут появиться, быть стабильными и подходить друг к другу. Вирусы подбирают одну из таких форм, и из возможных геометрических форм они выбирают ту, которая ближе к сфере. Поэтому они выбирают не пирамиды, они выбирают икосаэдры. Может, при этом и задействована какая-то селекция, но возможные оболочки вирусов считаются детерминируемыми просто физическими законами. Или возьмите пчелиные соты, которые опять же основаны на многогранниках. Есть и другие вещи: например, такой организм — никто даже не знает, можно ли назвать его организмом — слизистые грибы называется. Начинается он с маленьких организмов, они все держатся вместе, потом становятся более крупным организмом, а потом, наконец, разделяются и становятся отдельными организмами. Это происходит регулярно и, насколько я понимаю, математическая сторона этого вопроса, в общем-то, разработана. Есть какое-то довольно простое физическое свойство, которое приводит к этому с виду

сложному поведению, стоит ему начать действовать. Если подходить поверхностно, то может показаться, что это работа «мастерицы на все руки» и подгонка к какой-то среде, но в действительности, вероятно, просто какое-то небольшое изменение привело к тому, что получилось вот так. Как далеко это заходит? Многое просто непонятно, поэтому, как далеко это заходит, неизвестно. Когда идешь дальше простых структур, начинаешь гадать, что могло произойти, а когда что-то узнаешь, то часто догадки оказываются неверными, потому что тут никак не угадаешь, слишком уж много возможностей, причем никто их даже еще вообразить себе не сумел. Эволюцию глаза, например, изучали широко, и стандартный вывод состоит в том, что он проходил все эволюционные этапы примерно пятьдесят раз. Недавние работы обнаружили, что существует единый источник и единый «главный контрольный ген» для всех глаз в органическом мире [45]. Затем, на протяжении миллиардов лет, эволюционные процессы (естественный отбор, функционирующий в структурированном «канале») породили много типов глаз, поверхностно очень различных, но с глубинно единообразными свойствами.

А теперь обратимся к языку. Представляется фактом, что язык биологически изолирован. Давайте еще раз взглянем на Хаузера, книга которого представляет собой поистине энциклопедическое исследование эволюции коммуникации, сравнительное исследование коммуникации, на самом деле. Язык в его таксономию даже не укладывается. Человеческий язык – это самая захватывающая тема, поэтому с языка книга Хаузера начинается, языком заканчивается, а в середине содержится сравнительные штудии по коммуникации.

Но в ней таксономия возможных систем, и язык к ней не относится. К возможным системам относятся выкрики чело́векообразных обезьян, пение птиц и пр. Есть системы, связанные с выживанием, спариванием и воспроизведством, а есть такие, которые задействованы в опознаниизывающего и т. д. И, в общем-то, это все. А язык никуда не вписывается. Язык можно использовать для называния себя, для воспроизведения, для предупреждения о хищниках. Но нельзя всерьез исследовать язык в таких терминах. Языку в этой таксономии попросту не находится места. В действительности, Хаузер об этом вроде бы упоминает, но не разъясняя последствий того, что он говорит. Он говорит, что все в его книге «не имеет никакого отношения к формальному исследованию языка»; ну, «никакого отношения» — это, может быть, и чересчур сильно, но такова его формулировка. Однако что значит формальное исследование языка? Ответ: по существу все что угодно относительно языка. Он, вероятно, имеет в виду правила в какой-то форме записи, но это не то: к «формальному исследованию языка» относятся все работы, стремящиеся установить природу языка, так же как «формальное изучение танца пчелы» включает в себя практически всю литературу по этой теме. Стало быть, все, будь то синтаксис, семантика, фонология, прагматика или как хотите называйте, — это формальное исследование языка. Если все в книге «не имеет никакого отношения к формальному исследованию языка», то это просто иначе сформулированная констатация того факта, что языку нет места в таксономии. И судя по всему, так и есть. Безусловно, Хаузер старается приложить серьезные усилия, чтобы показать, что языку есть место, но, когда

присмотришься, оказывается, что язык никак не укладывается, имеем ли мы в виду его свойства или его всевозможные «функции». Когда Хаузер добирается до последней главы книги, названной «Перспективные направления» (Future Directions), он размышляет о том, как когда-нибудь мы сможем что-нибудь сказать об эволюции этих систем, поскольку сейчас мы, в сущности, ничего сказать не можем. О языке он говорит по сути вот что: «Послушайте, есть две проблемы; ясно, что вы должны запомнить много слов и еще вам требуется порождающая система, которая давала бы вам бесконечное множество выражений, так что нужно, чтобы что-то могло решить эти проблемы». Ну и как это сделать? Бесконечное множество выражений он просто бросает; он упоминает об этой проблеме без всяких спекуляций, что вполне осмысленно, поскольку никаких серьезных спекуляций нет. Что насчет взрывного роста множества слов? Хаузер замечает, что и по этому поводу можно сказать очень немногое. Это не выкрики животных. Усвоение слов, указывает он, должно включать в себя способность к подражанию, и человек имеет врожденную способность к подражанию. Конечно же, как он признаёт, и много чего еще. Тогда что насчет способности к подражанию? Ну, это тоже оказывается полной тайной. Если верить Хаузеру, ни в какой подходящей форме нигде в органическом мире она не встречается, и как так получилось, узнать невозможно — к такому выводу он (фактически) приходит. То есть это полный тупик. Сказать, в сущности, нечего, языка вообще нет на карте. Вот основной вывод, который следует из его всеохватывающего сравнительного обзора коммуникации.

Это не означает, что язык не является результатом биологической эволюции, конечно же, все мы исходим из того, что он является следствием биологической эволюции. Но каким следствием? Вот тут надо посмотреть на ту малую толику, что нам известна. Мы можем насочинять массу всяческих историй. Это нетрудно: например, взять язык, как он есть, разбить его на пятьдесят различных частей (слог, слово, складывание этого всего воедино, фразы и т. д.) и сказать: «У меня есть история: одна мутация дала слоги, другая мутация дала слова, еще одна дала фразы... еще от одной (чудесным образом) пошло рекурсивное свойство (собственно, все мутации остаются чудесами)». Ну может и так, а может и как-то совсем по-другому; эти истории вольно сочинять как угодно и, что интересно, они по большей части вообще не зависят от того, каков язык. Если окажется, что в языке есть параметр вершины, точно такая же история; если нет параметра вершины, все равно та же история. История, которую вы выберете, в общем-то, не зависит от фактов. И так будет обстоять дело до тех пор, пока вы не будете что-то знать наверняка. И про глаз можно придумывать истории, и про крылья и т. п. Произошло то, что произошло, неизбежно было так, как в выбранной вами истории. И если смотреть на удивительное приспособление какой-нибудь системы к ее окружающей среде, когда мы находим, что это именно так, — это лишь постановка задачи, а не ответ, вопреки распространенному недоразумению.

Возвращаясь к языку, налицо система, которая, насколько нам известно, в сущности, единообразна. Может, когда-то и формировались несколько видов, но выжил только один вид, а именно мы; внутри вида,

как представляется, никакой изменчивости нет. Да, встречается синдром Вильямса и специфичное повреждение языка (*specific language impairment*). Но это не внутривидовая изменчивость в осмысленном понимании: это отклонения от фиксированной системы, которые встречаются время от времени, но базовая система представляется единообразной. Иными словами, дети везде усваивают любой язык, насколько нам известно, а значит базовая система единообразна. Никаких генетических различий никто обнаружить не смог; может, какие-то и есть, но, видимо, столь малые, что мы не можем их уловить. Так что в основном речь идет о единообразной системе, а значит со времени ее появления никакой значительной эволюции не было. Система просто оставалась такой. Люди рассеивались, есть группы людей, которые в течение длительного периода жили изолированно, и все же никто не может уловить никаких языковых различий. Так что, по-видимому, это что-то возникшее совсем недавно, столь новое, что еще не успело претерпеть сколько-нибудь значимой эволюции.

Есть еще один момент, который недавно подчеркнул Джерри Фодор [46]: язык отличается от большинства других биологических систем, в том числе и от некоторых когнитивных систем, тем, что физические, внешние ограничения, которые он должен учитывать, крайне слабы. Так, есть какая-то врожденная система распознавания объектов: младенцы могут распознать отдельные постоянные свойства объектов; они знают, что предметы не проходят сквозь барьеры и пр. Но эта система, какой бы она ни была, не может не быть настроена на внешний мир; если бы у вас была такая система, в которой предметы проходили бы

сквозь барьеры и т. п., то во внешнем мире вы бы не справились. Таким образом, эта система будто бы управляетя внешним миром. Потому имеет смысл делать предположения о ее селекции — это спекуляция, но правдоподобная, как в случае эхолокации. Язык же вовсе не обязан удовлетворять этому условию или должен его выполнять в крайне малом объеме. Надо иметь свойство, позволяющее каким-то способом говорить о мире, но может быть сколько угодно таких способов. Фундаментальным условием, которому должен удовлетворять язык, является пригодность к употреблению, чтобы человек, владеющий им, был в состоянии им пользоваться. Собственно, языком можно пользоваться, даже если вы единственный человек с языком во Вселенной, и на самом деле при этом даже будет адаптивное преимущество. Если бы у одного человека вдруг появилась языковая способность, то этот человек получил бы немалые преимущества; этот человек смог бы мыслить, смог бы четко выражать для себя свои мысли, смог бы планировать, смог бы заострять и развивать мышление, как мы это делаем во внутренней речи, что оказывает большое влияние на жизнь каждого из нас. Внутренняя речь — это большая часть речи. Почти все употребление языка направлено на себя, и это может быть полезно для самых разных целей (может быть и вредно, как всем нам известно): понять, что делать, спланировать, прояснить мысли, все, что угодно. Так что если так случится, что один организм приобретет языковую способность, в этом могут быть репродуктивные преимущества, причем огромные. А если бы получилось так, что языковая способность распространилась бы в следующем поколении, то она бы появилась у всех. В более

многочисленной группе необходимо только, чтобы эта способность была общей. Привязка к внешнему миру чрезвычайно слабая, и потому эта способность может быть очень стабильной, поскольку просто нет смысла ее менять; ни при каких имеющих место изменениях не будет преимуществ, или же она стабильна в силу того, что на изменения не было достаточно времени. Так или иначе, она явно была стабильной.

Что произошло до ее появления? Этого никто не знает; представляется нелепым считать ее боковой ветвью выкриков приматов, не принадлежащих к человеческому роду. С ними у языка нет никаких общих интересных свойств. Нет общих свойств и с жестовыми системами, вообще нет общих свойств ни с чем нам известным, — тут-то мы и попались. Язык обладает очень необычными свойствами: дискретная бесконечность — это необычно, смещенная референция — необычно, самые элементарные структурные и семантические свойства представляются необычными. Возможно, что произошло то, о чем рассуждали Ричард Левонтин и другие [47]: мозг переживал взрывное развитие на протяжении миллионов лет: он становился намного больше, чем у других сохранившихся видов приматов, и на каком-то этапе (насколько нам известно, примерно 100 тысяч лет назад) могло произойти какое-то небольшое изменение, и мозг реорганизовался, включив в себя языковую способность. Может быть так. Тогда это примерно так же, как с полосками морского ангела, многогранными оболочками вирусов и пр. Понимание физического канала для естественного отбора настолько ограниченное, что на самом деле невозможно иметь какое-то свое мнение по этому поводу. Если вам угодно,

можно над этим смеяться, можно по этому поводу ликовать. Но никакого особого смысла ни то, ни другое иметь не будет. Попросту непонятно, за исключением самых простых случаев, как физический канал определяет и контролирует процесс селекции. Левонтин — из тех, кто считает, что мы никогда не решим задачу познания высших ментальных процессов человека, — что никакими вообразимыми сейчас методами невозможно найти ответ, не только применительно к языку, но и вообще для познания. Другие полагают, что могут что-то сделать. Но рассказывать байки не слишком-то поучительно. Можно сочинять сказки о крыльях насекомых, но все равно остается необходимость открыть, как они развились, — по одной из версий, из выпуклостей, которые функционировали как терморегуляторы. Известен пример с шеей жирафа, именно на него всегда ссылались как на очевидный пример естественного отбора с ясной функцией; дескать, жираф тянутся за плодами, висящими выше, шея у него становится чуть длиннее, потом у жирафов рождается потомство и вот так и получается, что у жирафов длинная шея. Недавно открыли, что это, видимо, неверно. Жирафы не пользуются длинной шеей для питания высоко растущими плодами. Тут и сказке конец; придется придумать другую сказку: может быть, сексуальное демонстрационное поведение, как с хвостом павлина, может, какая-то другая история, но в том-то и дело, что история сама по себе не имеет значения. Можно рассказывать очень убедительные истории по любому случаю, но истина такова, какова она есть. Про планеты можно рассказывать истории, как, собственно, это делали греки: неплохие были истории, но на самом деле так не быва-

ет. В случае языка нам известно, что нечто появилось в процессе эволюции и что с тех пор, как оно появилось, нет указаний на какие-либо эволюционные изменения. Насколько нам известно, появилось оно один раз, совсем недавно. Никаких реальных данных по использованию языка ранее примерно 50 тысяч лет тому назад нет. Однако нейроанатомия, как представляется, сформировалась раньше, ну может быть, 150 тысяч лет назад. Так или иначе, недавно. Возникновение языка, как кажется, с эволюционной точки зрения было достаточно внезапным и произошло в организме с очень большим мозгом, который образовался по какой-то причине, надо думать, путем какой-то реконструкции мозга, которая ввела в игру физические процессы, вследствие которых возникло нечто, действующее близким к оптимальному образом, подобно оболочке вируса. Если минималистский тезис все-таки достигнет сколько-нибудь значительной достоверности, то это будет вполне разумный вывод; конечно же, сначала надо обосновать этот тезис.

АБ и ЛР: То есть язык мог начать свое существование внезапно, благодаря одной-единственной мутации, по сути в своей нынешней форме, и естественный отбор не успел бы оказаться на него свое воздействие. Как мы можем обосновать эту «эволюционную басню», как вы ее называете в «Минималистских изысканиях»? Какие у нас есть свидетельства недавнего происхождения человеческого языка?

НХ: Ну, для начала, насколько известно, людей было просто не так уж много. Существующие на сегодняшний день оценки числа индивидов я не могу восстановить по памяти достоверно, но вроде бы сто

тысяч лет назад их было что-то около 20 тысяч, — в самом деле, очень малая популяция, которая затем широко рассеялась. В отличие от других крупных организмов, люди избежали какой-либо ограниченной экологической ниши и потому были повсюду, и надо полагать, из единого источника. Они были адаптированы ко многим средам. Это значит, что группы были очень небольшие, и их было немного. А затем произошел прирост; не такой, как взрыв в последнюю пару сотен лет, но имел место существенный прирост, и это примерно совпало с возникновением символических проявлений, всевозможных церемоний, захоронений людей с их орудиями труда, и всяких других вещей, указывающих на существование сложной социальной организации. Без языка вообразить себе такое довольно трудно. Вот какие имеются данные. Еще есть кое-какие физиологические данные: Филип Либерман доказывает, что гортань у них ушла глубже [48]. Некоторые ученые с этим согласны, некоторые — нет. Что бы это ни значило, это все несущественно. С перцептивной стороны, ничего особенного вроде бы уловить не удается, и, конечно же, что касается систем мышления, никаких памятников нет, а от сохранившихся видов человекообразных обезьян многоного добиться, судя по всему, не удастся.

5. Размах и перспективы

АБ и ЛР: Недавно в лекции в Scuola Normale в Пизе вы цитировали английского химика XVIII в. Джозефа Блэка, который подчеркивал, что для его дисциплины было очень важно «выстроить учение» по образцу ньютоновской физики. Порождающая грамма-

тика и, конкретнее, модель принципов и параметров определенно позволили совершить множество тонко подмеченных удивительных открытий на обширной области, и можно утверждать, что выстроено значительное «учение» по различным аспектам человеческого языка. Принимая как должное тот очевидный факт, что в эмпирических науках ничто не приобретается окончательно, каковы те аспекты, которые вы бы рассматривали как «признанные результаты» в нашей науке?

НХ: Если высказать мое личное мнение, то почти все может быть подвергнуто сомнению, особенно если смотреть с минималистской точки зрения; на что ни взглянешь, почти все вызывает вопрос: а зачем оно? Поэтому, если бы вы спросили меня десять лет назад, я сказал бы, что управление – это объединяющее понятие, что вершинный параметр является очевидным параметром, исключительное падежное маркирование и пр., однако теперь ничто из этого уже не кажется очевидным. X-штрих-теория, как мне представляется, ошибочна, управление, возможно, не существует. Если Кейн прав, то точная параметризация основывается не на параметре вершины, а на каких-то других параметрах по факультативным передвижениям, в этом определенно что-то есть, может быть, так и есть на самом деле. Посмотрим. Но не думаю, что это так уж необычно. Если взглянуть на историю наук, то это как раз обычная ситуация. Даже в передовых науках почти все сомнительно. То, чему я учился в университете, скажем, на лекциях по естественным наукам, сегодня во многом уже не преподается. Больше того, то, что двадцать лет назад преподавали

по физике и химии, сегодня преподают по-другому. Некоторые вещи относительно стабильны. Периодическая таблица никуда не делась, но элементарные частицы совсем не такие, как нас учили. Собственно, ни в какой живой дисциплине нельзя ожидать, чтобы учение оставалось чересчур стабильным. Появляются новые перспективы, различные явления получают иную интерпретацию. Внешне эти изменения зачастую могут выглядеть не столь большими, но в каком-то смысле и о порождающей грамматике на протяжении пятидесяти лет можно сказать то же самое. Снаружи кажется, что все более или менее такое же, как было, но изнутри видно, что все совсем по-другому, и я подозреваю, что так будет продолжаться и дальше. Например, что такое островные условия? Это одна из центральных тем исследований вот уже сорок лет, и все же мне кажется, что мы этого еще не поняли. В данных, которые мы не понимаем, определенно недостатка нет; у Пола Постала [49] недавно вышла книга на эту тему и, уверен, там тонны данных, которые никаким вообразимым образом не должны получаться. Подобного рода проблемы встречаются в изобилии. И еще, по меньшей мере, насколько мне известно, нет по-настоящему принципиального объяснения многих островных условий.

В то же время что-то останется стабильным. Различие между слабыми и сильными островами выглядит стабильным; возможно, мы его не понимаем, но в нем есть что-то стабильное. Условия на локальность и последовательное циклическое передвижение также мне представляются стабильными на каком-то уровне абстракции. Сильно подозреваю, что различие между интерпретируемыми и неинтерпретируемыми

признаками окажется стабильным, хотя это из последних наблюдений, пять лет назад не было дискуссии по этому поводу. В каком-то виде останется метрическая теория. Актантная структура тоже останется, как и свойства сферы действия, и реконструкции, и недавние открытия в области тонких структур (fine structure). Сущность теории связывания останется, но, вероятно, получит иную интерпретацию. Нельзя сказать, что что-то когда-либо выбрасывается во все; скажем, результаты исследования правил исключительного падежного маркирования останутся, но, возможно, что их распределят по разным областям, может быть, станут смотреть на них иначе и т. д.

Однако мне думается, что в действительности здесь мало что можно прогнозировать. Это молодая область знания, изменения протекают быстро, много чего еще остается без объяснения. Уверен, есть новые перспективы, о которых мы еще не задумывались. Я не стал бы ожидать стабильности или даже надеяться на нее. Если есть стабильность, это значит, что мы не сможем далеко уйти, потому что на той стадии, на которой мы с вами сейчас находимся, тайн уж слишком много. И коль скоро наша область знания останется стабильной, то, значит, эти тайны так и останутся тайнами. Это было верно для химии в середине XVIII в. – в то время, когда писал Джозеф Блэк, тот химик, которого вы цитировали. Вы только подумайте, какой была химия в середине XVIII в. и какая она сегодня. Блэк бы не узнал современную дисциплину. В его время все еще было принято считать, что основные компоненты материи – это земля, воздух, огонь и вода, что воду можно превратить в землю и т. п. У химиков в то время было выстроено вну-

шительное «учение», они многое знали о химических реакциях, когда они происходят, как они происходят, но взгляд на них полностью изменился. Посмотрите, например, на Лавуазье, который создал номенклатуру, которой все пользуются до сих пор, — и ведь номенклатура — это не просто терминология; предполагалось, что это истина, она была предназначена сообщать какие-то истины: так что кислород порождает кислоту, потому что такова его природа (что, как потом оказалось, неверно). В одной из классификаций Лавуазье рядом с водородом и кислородом встречаем «калорик», то, что мы называем «тепловой энергией». То есть все изменилось. И он это как бы предвосхитил; он в то время сказал, что природа элементов, вероятно, не познаема людьми, так что можно лишь делать какие-то предположения. А ведь химия уже к тому времени была достаточно передовой наукой.

АБ и ЛР: В разговорах со специалистами по другим дисциплинам нас иногда спрашивают: каковы достижения современной лингвистики? Можно ли сформулировать какие-то результаты, не прибегая к формальному языку, который делает их недоступными для широкой публики?

НХ: Есть понятные вещи, которые нетрудно проиллюстрировать, как, скажем, свойства *wh*-перемещения; они очень яркие и многие из них нам на каком-то уровне понятны, например, разграничения Хуанга и островные эффекты [50] и даже более сложные вещи, вроде паразитических пробелов и т. д. Даже самые простые примеры могут послужить иллюстрацией довольно сложных моментов. Я иногда использую примеры, подобные сложным адъективным конструк-

циям (английский язык для этого подходит хорошо, лучше, чем другие языки со сложными адъективными конструкциями). Эти примеры неплохо иллюстрируют последовательное циклическое движение в группе предиката, хотя ничего видимого нет, там пустой оператор. Но факты ясны, и видно, что это такие же факты, какие можно видеть в вопросах с *wh*-словом; можно сформулировать принципы, которые дают интерпретирующие факты в предложениях вроде *John is too stubborn to talk to* ‘Джон слишком упрям, чтобы разговаривать с ним’. Имеется предостаточно такого стабильного материала, для которого легко подобрать примеры; можно сформулировать какие-то принципы, что-то известное об общих принципах. Тот факт, что существует компонент, который каким-то образом связан со структурой непосредственных составляющих, и компонент, который каким-то образом связан со смещенностю, это, по-моему, достаточно ясно, как и то, что они обладают различными свойствами – различными семантическими и различными формальными свойствами. То же, если перейти к фонологии. Так что точно имеется внушительная масса вещей, которые можно представлять на публичных лекциях; я бы сказал, для любой аудитории – от учащихся средней школы до студентов и широкой публики. Довольно легко донести до них этот материал – уверен, вы именно так и делаете, – чтобы они поняли и даже увидели глубинные принципы. Таким образом, есть много нетривиальных ответов. А с другой стороны, если искать аксиоматическую систему, то такой не существует в природе, впрочем, и в любой другой науке этого делать не стоит. Я имею в виду, что если кто-нибудь спросит вас, каковы достижения био-

логии, то можно только дать организованную систему, в которой будет представлен естественный отбор, гены, результаты Менделя и современная генетика, ну и т. д., а затем можно все проиллюстрировать.

АБ и ЛР: Минималистская программа побудила исследователей переосмыслить основания своей работы и тем самым предложила свежий взгляд на старые проблемы, открыла новые вопросы и пр. С другой стороны, программа сама для себя выбирает эмпирическую область на основании своих жестких критериев и тем самым оставляет за своими рамками значительную часть того, из чего прежде состояло «учение». Неизбежно ли это? Считаете ли вы, что это желательно?

НХ: Было бы хорошо подвергнуть все минималистской критике, но это достаточно трудно; ведь ничто не выдерживает эту критику, ни в какой области. Так что стоит вам посмотреть на что-либо, взять самое лучшее, самое авторитетное исследование, и спросить: «А могу я это объяснить только на основании читаемости на стыке?» — ответ будет отрицательным. Это верно для большинства элементарных вещей вроде соответствия звук—смысл: это основные данные, которыми пользуются люди, вот этот звук соответствует вот этому смыслу, у всех это базовые дескриптивные данные. Но минималистским критериям, по крайней мере жестким, это не удовлетворяет. Жесткий минималистский критерий был гласил: «Выражение должно быть читаемым и с точки зрения звука, и с точки зрения смысла; но если при этом надлежащим образом получается пара, то это надо объяснить». Вам не дается этих исходных фактов,

для этого потребовалось бы множество куда более разнообразных условий, налагаемых извне; на самом деле, не думаю, чтобы это можно было постулировать как набор внешних условий, поскольку для того чтобы узнать, что пара составлена верно, необходимо узнать практически все. То есть каким-то образом даже простой исходный факт, который лингвисты на протяжении тысяч лет принимали как базовую предпосылку своей науки, не доступен при минималистском истолковании. Нужно попытаться это объяснить, нужно показать, что оптимальное решение независимого обеспечения читаемости с точки зрения звука и с точки зрения смысла даст вам верную интерпретацию *John is easy to please* ‘Джону легко угодить’, а не какую-то более простую интерпретацию.

Так обстоят дела, во всяком случае, так мне кажется; надо выделить основные части, такие как, скажем, структура непосредственных составляющих и смещённость, и спросить, какие компоненты этих систем выглядят будто бы проблематично. К примеру, если воспользоваться критерием, который, по-моему, вы предлагали ранее: нашлось бы им место в искусственно созданной символической системе? Это неплохая отправная точка. Если вы найдете что-то, чего не было бы в искусственно созданной символической системе, тогда нужно спросить, почему в языке это явление есть: например, морфология, зачем она? И стоит вам задать вопрос, как это тут же подвигнет вас к чему-то новому, например, к различию между интерпретируемыми и неинтерпретируемыми признаками, что вполне очевидно, но я, во всяком случае, об этом никогда раньше не задумывался. Мне никогда не приходило в голову, что есть причина традиционной асиммет-

рии согласования, которую мы все изучали в школе. Если посмотреть с точки зрения десятилетней давности, то я бы сказал, что отношение симметрично и что традиционная асимметрия — это лишь произвольное соглашение. Но оно явно не иррационально, это интуитивное ощущение чего-то, по-видимому, достаточно глубокого; различие между интерпретируемостью в одной позиции, но не в другой. Так что это не тривиально, но такие вещи не приходят в голову, пока не начнешь спрашивать: зачем это? А затем это продолжается применительно ко всему; ко всему, что подпадало под исключительное падежное маркирование, связывание, управление, распространение словоизменительных категорий, почти под все.

Стоит вам начать задавать простейший вопрос, как описания, которые казались очевидными, по-моему, сразу же представляются достаточно проблематичными, и вопросы множатся, стоит только немного углубиться в исследования. Это верно почти для любого момента, на какой ни посмотришь. На что ни посмотришь, везде видно, что предположения на каком-то уровне нормальные и даже позволяют выявить многое, иные — очень многое, но затем присматриваешься к тем допущениям, на которых они основываются, и находишь, что эти допущения сомнительные, что они не самоочевидны и порой даже не естественны. В частности, они точно не следуют только из того факта, что язык должен быть читаемым на стыке. Поэтому надо искать для них какое-то другое объяснение и либо сказать: «Ну все, я сдаюсь, объяснения должны где-то заканчиваться, это тайна», либо все-таки искать объяснение, и тогда часто от допущений ничего не остается. Так или иначе, не следует при-

нимать идею того, что все, в конечном счете, тайна. Может, так и есть, но допускать это еще чересчур рано. Это признание поражения, причем явно преждевременное. Может оказаться, что это верно, может, это и тайна.

Мы с самого начала (и вполне справедливо, я это не критикую) были готовы принимать те или иные принципы потому, что они дают результаты. Именно этим путем и нужно идти, не спрашивая, для чего такие принципы существуют. Однако на каком-то этапе, может быть, еще слишком рано, но на каком-то этапе будет необходимо спросить, для чего существуют принципы, и минималистский подход дает один из способов рассмотрения этой проблемы. Может быть, есть какой-то другой способ, но я пока никакого другого способа вообразить себе не могу.

АБ и ЛР: К той же проблеме эмпирического охвата можно обратиться с немного другой точки зрения. С одной стороны, Минималистская программа во многом полагается на теорию интерфейсов, призванных обеспечивать внешние ограничения, которые должна учитывать языковая способность. В этом качестве Минималистская программа должна способствовать исследованиям по смежным системам и интерфейсам еще более, чем прежние модели. С другой стороны, программа пока может предложить не так уж много указаний для изучения систем, которые считаются связанными с языком, но конституированными иначе, чем «узкий синтаксис» в вашем понимании. Как по-вашему, не является ли это следствием нынешнего состояния исследований и в будущем все может или должно измениться?

НХ: Прежде всего, интерфейсы оказались в фокусе внимания только в самое последнее время; до сих пор всегда считалось, и насколько я знаю, без всяких сомнений, что интерфейсов два. Это уходит ко времени Аристотеля: есть звук, есть смысл, и это все. Смотришь на соответствия звук–смысл, фонетика расскажет тебе о звуке, а откуда ты узнаешь смысл, этого никто не знает. Таким было общепринятое допущение и большого значения оно не имело. Правильное или неправильное – это допущение не оказывало никакого воздействия на теории, поскольку те не были предназначены для того, чтобы удовлетворять стыковым условиям. Стоит задуматься о том, что сущностным свойством языка должен быть тот факт, что он удовлетворяет стыковым условиям, – и с этим вынуждены согласиться все, – как тут же встает вопрос: что представляют собой эти интерфейсы? Раньше этот вопрос, в общем-то, не возникал, но теперь он приобретает большую важность. Как только задумаешься, становится понятно, что на самом деле мы этого не знаем.

Ну что ж, возьмем несложный случай: сенсомоторный интерфейс. Всегда было принято считать, что такой существует, однако это отнюдь не очевидно. Возможно, что существуют различные интерфейсы для артикуляции и восприятия, и, более того, не очевидно, что как для артикуляции, так и для восприятия есть только по одному интерфейсу. Предположим, что верно нечто вроде картины Морриса Халле [51]: на каком-то уровне признаки дают инструкции органам артикуляции. Ну, необязательно, чтобы они делали это все сразу в один и тот же момент в процессе дериации. Может быть, одни дают инструкции в один момент, потом могут идти еще какие-то фонологиче-

ские вычисления, затем дается еще одна инструкция и т. д. Возможно, в данном смысле, это распределенная система. Вполне возможно. Я хочу сказать, с какой это стати биология должна быть настроена таким образом, чтобы в процессе вычисления был один фиксированный пункт, когда у вас есть интерфейс? Вполне возможно, что интерпретация постоянно находится «на связи» и происходит циклически, и даже на каждом этапе цикла инструкции для органов артикуляции и перцептивного аппарата могут быть различными по своему характеру (вместо единой фонетической презентации) и распределенными в рамках вычислительного процесса. Еще возможны взаимодействия вроде тех, что предлагались в моторной теории восприятия. При этом возможны взаимодействия между двумя аспектами фонетического интерфейса. Так что я подозреваю, что весьма вероятно нас ожидают самые разнообразные сюрпризы.

С другой стороны, со стороны смысла, как мне представляется, могут быть кое-какие наводящие на размышления результаты. Из числа наиболее интересных синтаксических исследований, которые сейчас проводятся (обычно их называют «семантикой», хотя, по-моему, их следует рассматривать как периферию синтаксиса), многие не удовлетворяют естественным минималистским условиям, налагаемым на языковую способность: теория связывания, сфера действия квантора и даже операции, которые, видимо, связаны с передвижением, вроде стирания, включенного в антецедент (*antecedent contained deletion*). Все это укладывается в общую картину с трудом. Для начала, эти операции контрциклические, и даже если они циклические, то связаны с куда более сложными пра-

вилами, переносящими структуры в фонологический компонент, и с другими сложностями, объясняющими отсутствие взаимодействия с основными синтаксическими правилами. Предположительно, это всего лишь интерпретирующие системы со стороны смысла, аналог артикуляторной и акустической фонетики, того, что происходит непосредственно за пределами языковой способности. В действительности, никто не имеет каких-то особых представлений о вычислительных процессах непосредственно за пределами языковой способности. Можно сказать, что есть язык мышления или что-то подобное, есть понятия и пр., но в системе вне языковой способности никогда не было никакой структуры. Ну и может быть, это как раз и есть начало открытия какой-то структуры прямо на грани, применяющей операции, похожие на внутренние операции, но, вероятно, не точно такие же. Свойства у них другие.

Есть кое-какие интересные варианты; к примеру, эти внешние операции не повторяются, так что, по-видимому, нет последовательного циклического подъема квантора, последовательного циклического стирания, включенного в антецедент. Это же, видимо, верно и для операций, которые, вероятно, находятся на стороне звука, между внутренним интерфейсом «синтаксис – фонология» и внешним интерфейсом между языковой способностью и сенсомоторной системой. То, что связано с тяжестью, скажем, сдвиг тяжелой именной группы и все операции, подпадающие под ограничение «правой крыши»*, сформулирован-

* Имеется в виду ограничение на передвижение вправо части предложения – одно из универсальных синтаксических ограничений.

ного Россом (right roof constraint), — это все также не повторяется. Эта часть внутреннего синтаксиса в какой-то мере периферийная. Она не относится к тому, что можно было бы представить себе необходимым центром языка: к механизмам для формулирования мысли во внутренних языковых выражениях. Операции фонологического компонента, в широком понимании, продиктованы потребностями сенсомоторной системы. И если эти операции обладают свойствами, похожими на свойства, внешние для какого-то другого интерфейса, то вот это наводит на размышления. Так что, может быть, это начало какого-то нетривиального исследования систем мышления, того, как они действуют в точке, близкой к языковой способности, где к ним можно получить хоть какой-то доступ. Это новые вопросы, вопросы, проистекающие из настойчивого требования — верного или неверного, — чтобы внутренние операции обладали весьма систематическими минималистскими свойствами.

Основная суть в том, что, как это обычно и бывает в науке, стремишься показать, как языковая способность выполняет определенные условия, но при этом приходится открыть, что это за условия, и предполагается, что эти условия откроются в процессе постановки вопросов о том, как языковая способность им удовлетворяет. Это не как в случае инженера, которому дают некие условия и говорят: «Выполняй их». Тут мы находимся в процессе открытия, нам надо вы-

ний, которые существенно ограничивают порождающую способность трансформаций. См.: Казенин К. И., Тестелец Я. Г. Исследование синтаксических ограничений в генеративной грамматике // Современная американская лингвистика. Фундаментальные направления. М.: УРСС, 2002. — Прим. ред.

яснить, каковы эти условия, и выяснение того, в чем заключаются условия, есть часть процесса выяснения, как их выполнить, так что эти два процесса идут рука об руку. Если окажется, что весь этот подход в целом имеет смысл как тема исследований, то это приведет к куда более тщательному исследованию самих интерфейсов, того, что находится по другую сторону от них. Это было бы крупное исследовательское начинание, которому до сих пор в этой тематике, в общем-то, не находилось места.

Кстати, тут особый интерес могут представлять работы по образоформированию. Исследования по образоформированию должны оказаться особенно цennыми при очерчивании общей архитектуры систем и того, как они взаимодействуют, и отсюда — при исследовании способов взаимодействия языковой способности (или нескольких языковых способностей, если выявится такая картина) с другими системами сознания-мозга. Кое-какой свет на эти вопросы проливают «эксперименты природы» (церебральные нарушения и пр.), но эксперименты с непосредственным хирургическим вмешательством, конечно же, исключены. Развивающиеся новые технологии должны обеспечить способ преодоления части препятствий, установленных этическими соображениями и диффузными эффектами естественных событий. Даже на ранних, пробных стадиях, имеются результаты, вполне способные навести на размышления, и может быть, можно разработать экспериментальные программы, которые дали бы новую важную информацию относительно природы языковой способности и о том, как осуществляется доступ к ней и ее использование.

ГЛАВА 5



Секулярное священство и опасности, которые таит демократия



Термин «секулярное священство» я заимствую у выдающегося британского философа и историка-интеллектуала Исаии Берлина. Тот имел в виду интеллектуалов-коммунистов, оправдывавших государственную религию и преступления власти. Конечно же, к секулярному священству примыкали не все советские интеллектуалы. Были *комиссары*, которые власть оправдывали и реализовывали, и *диссиденты*, которые протестовали против власти и ее преступлений.

Мы чтим диссидентов и осуждаем комиссаров, что само собой разумеется справедливо. Внутри советской тирании, однако, верно было прямо противоположное — что тоже само собой разумеется.

Следы различия «комиссаров» и «диссидентов» ведут к самой ранней письменной истории, как и тот факт, что внутри своей страны комиссары чаще пользуются уважением и привилегиями, а диссидентов презирают и нередко наказывают.

Рассмотрим Ветхий Завет. Есть темное древнееврейское слово, которое по-английски переводится как «*prophet*» ‘пророк’ (и сходным образом в других западных языках). Оно означает нечто вроде «интеллектуала». Пророки предлагали критический геополитический анализ, а также критические оценки и наставления морального свойства. Много столетий спустя их стали почитать; во время оно же их принимали не слишком радушно. Были и такие «интеллектуалы», которых почитали: льстецы при дворах царей. Столетия спустя их обличили как «лжепророков». Пророки были диссидентами; лжепророки были комиссарами.

В ту эпоху и до наших дней есть бесчисленное множество примеров. Это поднимает для нас такой небесполезный вопрос: а наши собственные общества — они что, исключение из исторического правила? Отнюдь: они довольно точно следуют этому правилу. Берлин использовал термин «секулярное священство» для того, чтобы обличить класс комиссаров у официального противника; обличение совершенно справедливое, однако ничего удивительного в этом нет. А другой исторической универсалией, или близкой к ней, является то, что глаз у нас остер на преступлениях тех, кого заведомо определили как врагов, и их-то мы разоблачаем бойко, часто с превеликой убежденностью в собственной правоте. Взглянуть в зеркало чуть посложнее. Одной из задач секулярного священства в нашем обществе, как и в других, является — предохранять нас от этого неприятного ощущения.

Джордж Оруэлл знаменит своим красноречивым обличением тоталитарного врага и скандального поведения его секулярного священства; наибольшего внимания в этом смысле заслуживает, быть может,

его сатира «Скотный двор». Писал он и об аналогичном явлении в свободных обществах – в своем введении к «Скотному двору», в котором рассматривалась «литературная цензура» в Англии. В свободной Англии, писал он, цензура «во многом добровольная. Непопулярные идеи можно замалчивать, а неудобные факты держать во тьме безо всякой надобности в официальных запретах». В результате «всякого, кто ставит под сомнение превалирующую ортодоксию, с удивительной эффективностью заставляют замолчать». У Оруэлла было лишь несколько замечаний по поводу методов, используемых для достижения такого результата. Первый был связан с тем, что пресса находится в руках «богачей, у которых есть все мотивы для того, чтобы по определенным важным темам сообщать информацию недобросовестно». Второй прием – это хорошее образование, которое прививает «всеобщее молчаливое согласие, что „некорошо“ упоминать данный конкретный факт».

Введение к «Скотному двору» известно не так хорошо, как сама книга. Объясняется это тем, что оно не было опубликовано. Оно было найдено в бумагах Оруэлла тридцать лет спустя и помещено в достаточно заметном издании. Но оно остается неизвестным.

Судьба книги и введения к ней – это символическая иллюстрация того, о чем идет речь. *Их* секулярное священство плохое, даже омерзительное; *их* диссиденты безукоризненны. Дома и на зависимых территориях ценности обратные. Те же самые условия сохраняются и для преступлений, которые секулярное священство должно с негодованием осуждать либо замалчивать и оправдывать, в зависимости от субъекта.

Проиллюстрировать это опять же слишком даже просто. Но иллюстрации уведут нас от темы. Важно их ошеломляющее единообразие – факт, который подробно документировался в диссидентской литературе, где его легко проигнорировать, на что как раз и указывал Оруэлл в своем безвестном эссе о добровольной цензуре в свободных обществах.

Хотя этот путь и уводит от темы по упомянутым причинам, я, тем не менее, проиллюстрирую общую закономерность несколькими актуальными примерами. При таком единообразии найти современные примеры редко бывает трудно.

Мы собирались в ноябре 1999 г. – месяц, на который выпадает десятая годовщина нескольких важных событий. Одним таким событием было падение Берлинской стены, которое фактически знаменовало собой конец советской системы. Второе – это крупномасштабная бойня в Сальвадоре, осуществленная террористическими силами США под названием «армия Сальвадора» – организованными, вооруженными и обученными властвующей сверхдержавой, которая давно контролирует этот регион по существу именно таким способом. Наихудшие зверства совершили элитные части, только что прошедшие возобновленную США переподготовку, очень похожие на индонезийских командос, по вине которых в этом году опять были учинены ужасающие варварства в Восточном Тиморе, – и в этот самый момент еще фактически продолжаются в лагерях в индонезийском Западном Тиморе. Индонезийским душегубам США оказали содействие в виде обучения, продолжавшегося весь 1998 г., устроенного стараниями Президента Клинтона и в нарушение ясно выраженных намере-

ний законодателей в Конгрессе. Совместные с силами США военные учения закончились всего за несколько дней до референдума 30 августа 1999 г., в результате которого была развязана новая волна руководимого армией насилия после года варварств, зашедших много дальше того, что происходило до натовских бомбардировок в Косове. Все это известно, но, как сказал бы Оруэлл, «замалчивается безо всяких официальных запретов».

Вернемся к упомянутым десятилетним годовщинам и скажем несколько слов по поводу каждого из этих двух примеров, начиная со зверств на территории зависимого от США Сальвадора в ноябре 1989 г.

Среди убитых оказались шесть ведущих латиноамериканских интеллектуалов, священники-иезуиты. Один из них, отец Игнасио Эльякуриа, ректор крупнейшего университета в Сальвадоре. Он был известным писателем, как и другие. Мы, стало быть, имеем право спросить, как средства массовой информации США и интеллектуальные журналы — и вообще западные интеллектуалы — отреагировали на убийство шести ведущих интеллектуалов-диссидентов террористическими силами США: как они отреагировали в то время или же теперь, в десятую годовщину.

На сегодня ответ прост. В ответ — молчание. Электронный поиск в американских СМИ не нашел ни одного упоминания имен шести убитых интеллектуалов-иезуитов. Более того, нет почти что ни одного американского интеллектуала, который бы знал их имена или прочитал хоть одно слово, написанное ими. Во многом то же самое, насколько мне известно, происходит и в Европе. Резким контрастом выглядит тот факт, что всякий наизусть знает имена и цитирует

сочинения восточноевропейских диссидентов, которые подвергались жестоким репрессиям, но в постсталинский период не испытывали ничего подобного тем ужасам, которые являются обыденными реалиями жизни во владениях Вашингтона.

Этот контраст свидетельствует о многом. Он многому может научить нас в отношении нас самих, ежели мы пожелаем учиться. Он хорошо иллюстрирует то, что описывал Оруэлл: добровольное подчинение власти со стороны секулярного священства в свободных обществах — в том числе и СМИ, хотя они лишь наиболее заметный пример.

Было бы справедливо сказать, что убили интеллектуалов-иезuitов двояко: сперва устранили физически, затем их заставили замолчать те, кто вложил оружие в руки убийц. Здесь эта практика должна показаться знакомой. Когда осудили на тюремное заключение Антонио Грамши, фашистское правительство подвело итог этого дела такими словами: «Мы должны помешать этому мозгу функционировать в течение двадцати лет». Сегодняшние сателлиты Запада оставляют еще меньше шансов: если надо помешать мозгу функционировать, то уж насовсем, и его мысли тоже надо уничтожить — включая то, что они имели сказать о государственном терроризме, который, в конце концов, и заставил замолчать эти «голоса для безгласных».

Контраст между Восточной Европой в постсталинскую эпоху и владениями США признается в тех областях, на которые западные привилегии не распространяются. После злодейского убийства интеллектуалов-иезuitов журнал Иезуитского университета в Сан-Сальвадоре *«Proceso»* писал:

Так называемый сальвадорский «демократический процесс» многому мог бы научиться у той способности к самокритике, которую демонстрируют социалистические государства. Если бы Лех Валенса занимался своей организаторской работой в Сальвадоре, то он бы уже сейчас встал в строй исчезнувших — от рук «вооруженных до зубов мужчин в штатском»; или же его разорвало бы на куски в результате взрыва в штаб-квартире его профсоюза. Если бы Александр Дубcek был политиком в нашей стране, его бы устранили как Эктора Окели [сальвадорский социал-демократический лидер, по данным гватемальских властей ликвидированный сальвадорскими эскадронами смерти в Гватемале]. Если бы Андрей Сахаров трудился ради торжества прав человека здесь, его бы постигла та же судьба, что и Эрберта Анайю [один из многих убитых лидеров сальвадорской независимой Комиссии по правам человека — CDHES]. Если бы Ота-Шик или Вацлав Гавел осуществляли свою интеллектуальную деятельность в Сальвадоре, то в одно зловещее утро их бы нашли лежащими во дворике университетского кампуса с головой, простреленной пулями из оружия элитного армейского батальона.

Не преувеличивает ли иезуитский журнал? Те, кого интересуют факты, смогут определить ответ, правда, только в том случае, если выйдут далеко за пределы стандартных западных источников.

Какова была реакция десять лет назад, когда вместе с убитыми по политическим мотивам интеллектуалами погибла их экономка, и ее дочь, и многие другие? Это тоже свидетельствует о многом. Правительство США усердно потрудилось над тем, чтобы скрыть серьезнейшие доказательства того, что исполните-

лями преступления были обученные США элитные военные подразделения, которые успели составить ужасающий послужной список варварств – во многом их же руками десятью годами ранее заставили замолчать еще один «голос для безгласных», архиепископа Ромеро. Мы можем быть уверены, что двадцатая годовщина его убийства, в марте следующего года, пройдет почти что незамеченной [добавлено при редактировании: прогноз подтвердился]. Факты скрывались; главная свидетельница, бедная женщина, после запугивания посчитала за благо отказаться от своих показаний. А должностным лицом, которое организовывало запугивание и сокрытие улик, был посол США Уильям Уокер, которым сегодня очень восхищаются за его героические обличения сербских преступлений в Косове до бомбардировок НАТО – несомненно ужасных, но не составляющих и сотой доли того, что творилось, когда он был «проконсулом» в Сальвадоре. Пресса, за редким исключением, проявила идеиную выдержанность и неукоснительно следовала линии партии.

Через несколько месяцев после того, как покончили с интеллектуалами-иезуитами, имело место еще одно свидетельствующее о многом событие. В Соединенные Штаты приехал Вацлав Гавел и выступил на совместном заседании обеих палат Конгресса, где ему аплодировали стоя за его восхваление этой аудитории как «защитников свободы». Пресса, и вообще все сообщество интеллектуалов, отреагировали с трепетом и упоением. «Мы живем в романтический век», – писал в «New York Times», у самого края дозволенного диссидентства, Энтони Льюис. Прочие леволиберальные комментаторы описывали высказывания Гавела

как «ошеломляющее доказательство» того, что родина Гавела — «начало начал» «европейской интеллектуальной традиции», «голос совести», напоминающий «настойчиво об обязательствах больших и малых держав друг перед другом» — таких как США и Сальвадор, к примеру. Иные еще вопрошали, почему это у Америки нет своих интеллектуалов такой глубины, которые бы вот так «возвышали нравственность над своекорыстием».

Поэтому не совсем точно сказать, что интеллектуалов-иезуитов дважды убили. Их трижды убили.

Мы могли бы вообразить себе, какова была бы реакция, будь ситуация обратной. Предположим, что в ноябре 1989 г. чешские коммандос с ужасающим по службам списком массовых убийств и жестокостей, вооруженные Россией и только что прошедшие возобновленную русскую учебную программу, зверски убили бы Гавела и полдюжины других чешских интеллектуалов. Предположим, что короткое время спустя всемирно известный сальвадорский интеллектуал приехал бы в Россию и, обратившись к Думе, восславил бы российское руководство как «защитников свободы» под волнующие овации, на которые бы горячо отозвались российские интеллектуалы, и при этом бы оратор ни разу не упомянул об ответственности российских властей за физическое устранение своих коллег в Чехословакии. Довести до конца эту аналогию мы не можем, имея в виду десятки тысяч других жертв тех же самых «защитников свободы» только в одной этой несчастной стране, многие из них погибли в ходе все тех же бесчинств, в которых были злодейски убиты интеллектуалы.

Да и нечего нам попусту тратить время и воображать, какая была бы реакция. Мы можем сравнить события воображаемые с событиями реальными, тогда и теперь, и опять же при желании извлечь для себя ценные уроки.

Сообразно с исторической практикой, к интеллигентам, которые восхваляют силу Запада и игнорируют преступления Запада, на Западе относятся с великим почтением. Кое-какие интересные иллюстрации тому мы имели несколько месяцев назад, когда потребовалось найти способы оправдать натовские бомбардировки Югославии. Это была непростая задача, поскольку решение бомбить привело к резкой эскалации варварств и развязыванию крупномасштабных этнических чисток, как и предвосхищали с самого начала — последствие «вполне прогнозируемое», как проинформировал прессу командующий НАТО генерал Уэсли Кларк, когда начались бомбардировки. Ведущий интеллектуальный журнал США призвал тогда на помощь Вацлава Гавела, который вновь осыпал похвалами свою аудиторию, скрупулезно избегая всяких доказательств, но при этом провозглашая, что западные лидеры открыли новую эпоху в истории человечества, ведь впервые в истории они сражаются за «принципы и ценности». Реакцией было, опять же, преклонение перед его глубиной и проницательностью.

Вспомним еще одного русского диссиденты по имени Александр Солженицын. У него тоже нашлось, что сказать о бомбардировках. Вот его собственные слова:

Отшвырнув ООН, растоптив ее устав, НАТО возгласила на весь мир и на следующий век древний закон — закон-Тайга: кто силен, тот и полностью

прав... Не должно быть иллюзий, будто бы НАТО стремилось защищать косоваров. Если бы его настоящей заботой была защита угнетенных, они могли бы защищать, к примеру, несчастных курдов.

«К примеру», потому что это лишь один пример, хотя и весьма поразительный. Солженицын еще по скромничал. Он не добавил тот принципиально важный факт, что этнические чистки курдов и другие варварства, далеко превосходящие все, что приписывают Милошевичу в Косове, не ускользнули от внимания западных гуманистов. Скорее, те приняли осознанное решение участвовать в них активно. Преступления вершились главным образом с помощью американского оружия, составляющего 80 % арсенала Турции. Поступающее оружие хлынуло потоком, пик которого пришелся на 1997 г., одновременно с военной подготовкой, дипломатической поддержкой и великим даром молчания, предоставленным интеллектуальными кругами. В СМИ и публицистических журналах сообщалось немногое.

Солженицына также «заставили замолчать безо всяких официальных запретов», если заимствовать оруэлловскую фразу. Как уже отмечено, реакция на Гавела была совсем другой. Это сравнение опять-таки иллюстрирует знакомый принцип: для того чтобы добиться одобрения секулярного священства, полезно продемонстрировать надлежащее уважение к властям.

Скрытие роли США и их союзников в атаке на курдов было изрядным достижением, особенно в то время, когда Турция присоединилась к бомбардировкам Югославии, используя те же самые представленные США истребители F-16, что с таким успехом применялись при разрушении курдских деревень.

Немалая дисциплина требовалась и для того, чтобы «не замечать» варварства внутри НАТО на церемониях, проводившихся в апреле 1999 г. в Вашингтоне в дни празднования юбилея НАТО. Это было нерадостное мероприятие, омраченное тенью этнических чисток, явившихся (предвосхищаемым) следствием натовских бомбардировок Югославии. Такие варварства нельзя терпеть у самых границ НАТО, — возглашали оратор за оратором. Только лишь *внутри* границ НАТО, — где их непременно надо не только что терпеть, но и форсировать, до тех пор, пока не будут разрушены 3 500 деревень (семь Косово при натовских бомбардировках), не будут изгнаны из своих домов 2–3 млн беженцев, пока благодаря помощи лидеров, восхваляемых за их бескорыстную преданность «принципам и ценностям», не погибнут десятки тысяч невинных людей. Пресса и все остальные оставили этот впечатляющий спектакль без комментариев. В последние дни, когда Клинтон посещал с визитом Турцию, спектакль повторился. «Неутомимый популяризатор плюралистических обществ, — вещала пресса, — Клинтон выступал на встречах, нацеленных на поиск согласия между этническими группами, которые друг друга на дух не переносят». Его похвалили за «посещение мест, пострадавших от землетрясения, мол, „чувствую вашу боль“». Особенно заметным было проявление «клиントоновского шарма», когда тот заметил в рукоплещущей толпе младенца, затем «осторожно принял его из рук матери и почти минуту держал, прижав к груди», а ребенок в это время «как завороженный, вглядывался в глаза незнакомца» (*Boston Globe, New York Times*). Неприятное слово «курд» в этих живописаниях клиントоновского шарма так и не появил-

лось, хотя оно все-таки появилось в заметке *Washington Post*, в котором сообщалось, что Клинтон «пожурил» Турцию за ее ситуацию с соблюдением прав человека и даже «осторожно потеребил турок во поводу обращения с курдами — этническим меньшинством, которое добивается автономии и нередко подвергается дискриминации в Турции». Неупомянутым остался характер «дискриминации», которой они подвергались в то время, как Клинтон «чувствовал их боль».

Много чего еще можно сказать о десятилетии со дня убийства интеллектуалов-иезуитов, и о грядущем двадцатилетии со дня убийства архиепископа, и о резне нескольких сотен тысяч людей в Центральной Америке в годы между этими двумя событиями. Практически везде прослеживается один и тот же почерк, а следы ведут к центрам власти в государствах, называющих себя «просвещенными». О работе секулярного священства в течение всех этих ужасных лет и до сегодняшнего дня тоже много чего можно сказать. Все эти факты зафиксированы и в подробностях рассматривались в печати, где им была уготована обычная судьба «непопулярных идей». Смысла рассматривать их заново, наверное, немного, а времени мало, так что позвольте мне обратиться ко второй годовщине: падению Берлинской стены.

Это тоже благодатная тема, тема, привлекшая, в отличие от террора США в Центральной Америке, немало внимания в дни своего десятилетия. Рассмотрим некоторые из последствий крушения советского застенка, которые во многом ускользнули от внимания — на Западе, но не среди традиционных жертв.

Одним таким последствием развала СССР стал конец неприсоединения. Когда миром правили две

сверхдержавы — одна глобальная, другая региональная — для неприсоединения было определенное пространство. С исчезновением региональной сверхдержавы оно пропало. Организации неприсоединившихся держав по-прежнему существуют; подразделения Организации Объединенных Наций, отражающие их интересы, также в какой-то мере сохраняются, хотя и маргинально. Но для победителей уделять особое внимание заботам Юга стало еще меньше надобности, чем прежде. Индексом этого, в частности, стала резкая убыль иностранной помощи после раз渲ала Советского Союза. Особо крайние формы эта убыль приняла в самой богатой стране мира. Иностранная помощь США почти что исчезла и даже едва заметна, если не считать самую крупную составляющую этой помощи, которая направляется в одно богатое западное государство — клиент и стратегический аванпост. Есть много других иллюстраций.

Снижение объемов помощи, как правило, приписывается «усталости доноров». Оставляя в стороне тот момент, когда она вдруг проявилась, эта «усталость» из-за незначительных сумм, выделяемых главным образом на продвижение экспортных товаров, в общем-то непонятна. Термин «помощь» должен был бы стать еще одним знаком позора для богатых и привилегированных. Более уместно, в свете истории, которая едва ли малоизвестна, было бы сказать «весьма неадекватные reparations». Но победители не платят reparations, так же как они могут не опасаться расследований по обвинениям в военных преступлениях и не видят надобности в извинениях, за исключением более чем сдержаных признаний «ошибок» прошлого.

На Юге всё это хорошо понимают. Премьер-министр Малайзии Махатхир недавно сказал следующее:

Парадоксально, но величайшей катастрофой для нас, всегда бывших антикоммунистами, явилось поражение коммунизма. Окончание «холодной войны» лишило нас единственного имевшегося у нас рычага — возможности перебежать в противоположный лагерь. Теперь мы ни к кому не можем обратиться.

Никакой это не парадокс, но естественное выражение действительных «принципов и ценностей», которыми руководствуется политика. Это тема крайней важности для громадного большинства населения мира, но она мало обсуждается среди властной элиты на индустриальном Западе.

Рассмотрим еще одно последствие развала Советского Союза, последствие немалой значимости.

Соединенные Штаты — по сравнительным меркам необычно свободное общество, и за это заслуживают одобрения. Элементом этой свободы является доступ к документам по секретному планированию. Эта открытость означает весьма немногое: пресса, и вообще интеллектуалы, в основной массе придерживаются «всеобщего молчаливого согласия, что „нехорошо“ упоминать» то, что в них открывается. Но сама эта информация никуда не девается для тех, у кого есть желание с ней ознакомиться. Я упомяну несколько недавних примеров, для того чтобы дать общее представление.

Сразу же после падения Берлинской стены, глобальная стратегия США поучительным образом сменилась. Называется она «стратегией сдерживания»,

потому что США только «сдерживают» других и никогда не атакуют сами. Это пример еще одной исторической универсалии или около того: во время военного конфликта каждая сторона воюет в порядке самообороны, а важная задача секулярного священства воюющих сторон — изо всех сил стараться высоко держать это знамя.

В конце «холодной войны» «стратегия сдерживания» США сместилась: от России к Югу, к бывшим колониям. Этот сдвиг сразу же получил формальное выражение в ежегодном бюджетном послании Белого Дома Конгрессу в марте 1990 г. Важнейшим элементом бюджета, регулярно составляющим около половины дискреционных расходов, является военный бюджет. В этом отношении запросы марта 1990 г. были во многом такие же, как и в предыдущие годы, за исключением того, какое под это подводилось обоснование. Нам нужен огромный военный бюджет, объясняла исполнительная власть, но уже не потому, что «руssкие идут». Отнюдь: это из-за «технологической изощренности» стран Третьего мира требуются и неимоверные военные расходы, и продажи огромного количества вооружений любезных нам бандитам, и вооруженные силы для интервенций, нацеленных, в первую очередь, на Ближний Восток, где «угрозу нашим интересам... не представляется возможным отнести за счет Кремля», сообщили на этот раз Конгрессу вопреки десятилетиями предлагаемых измышлений, теперь отправленных на покой.

И за счет Ирака «угрозу нашим интересам» тоже нельзя было отнести. Саддам тогда был союзником. За ним числились кое-какие грешки, но все — сущие пустяки: травил газом курдов, пытал диссидентов, тво-

рил массовые убийства и прочий вздор. Как другу и высоко ценимому торговому партнеру, ему оказывали содействие в его стремлении заполучить оружие массового уничтожения и в иной деятельности. Он не совершил еще то преступление, которое мгновенно превратило его из пользующегося благосклонностью друга в реинкарнацию Гитлера: не выполнил приказ (или, быть может, просто не понял его).

Здесь мы затрагиваем еще кое-что, что «„некорректно“ упоминать». Каждый год, когда приходит время возобновлять жесткий режим санкций, который обескровливает иракский народ, при этом укрепляя его бесчеловечного диктатора, западные лидеры произносят много красивых слов о необходимости сдерживать это чудовище, дошедшее до последней черты в своих преступлениях: мало того, что он разрабатывал оружие массового уничтожения, так он еще и применял его против собственного народа! Все верно, в известной мере. И было бы верно совсем, если бы были добавлены недостающие слова: это вызывающее содрогание преступление он совершил «при нашем содействии и молчаливом одобрении, и непрекращающейся поддержке». Напрасно вы будете искать это мелкое дополнение.

Возвращаясь к запросу на огромный бюджет Пентагона в марте 1990 г., отметим, что еще одной его причиной была необходимость поддерживать «оборонно-промышленную базу», эвфемизм индустрии высоких технологий. Распаленная риторика про чудеса рынка ухитряется затуманить тот факт, что динамичные сектора экономики в очень большой степени полагаются на обширный государственный сектор, который служит для того, чтобы социализировать за-

траты и риски, при этом приватизируя прибыль, — еще одно общее наблюдение относительно индустриального общества, прослеживающееся на множестве примеров еще со временем британской индустриальной революции. В США со временем Второй мировой войны эти функции в значительной степени выполняются под прикрытием Пентагона, хотя на самом деле роль военных в экономическом развитии восходит к самым первым дням промышленной революции, не только в Соединенных Штатах, о чем хорошо известно историкам экономики.

Коротко говоря, падение Берлинской стены привело к важному риторическому сдвигу и к молчаливому признанию, что прежние предлоги были надуманными. Когда-нибудь даже можно будет признать тот факт, что при рассмотрении конкретных ситуаций от факторов «холодной войны», приводившихся для оправдания различных преступлений, обыкновенно ничего не остается: никогда не исчезая в полной мере, конфликт сверхдержав не имел ничего, подобного той значимости, которая регулярно провозглашалась. Но то время еще не пришло. Когда же такие вопросы поднимаются вне рядов секулярного священства, то высокочек игнорируют, или же, если заметят, то их назидательно поучают последить за своими манерами и высмеивают за повторение «старых, затасканных штампов», — которые систематически замалчивались и по-прежнему замалчиваются.

До сих пор я ссылался на открытые документы, но, поскольку мало о чем сообщалось, эта информация имеет ограниченное хождение в узких, в основном в диссидентских кругах. Далее мы обратимся к сек-

ретным данным по планированию на высоком уровне в эпоху после «холодной войны».

Рассекреченные документы Пентагона описывают старого противника, Россию, как «среду, насыщенную вооружениями». По контрасту, новый враг — это «среда, насыщенная целями». На Юге, с его устрашающей «технологической изощренностью», много целей, но оружия немного, хотя мы помогаем преодолеть эту недостаточность путем массивных передач вооружений. Этот факт не ускользает от внимания военной промышленности. Так, корпорация «Локхид-Мартин» призывает к увеличению числа государственных субсидий на продажи истребителей F-16, которые мы предоставляем потенциальным «государствам-изгоям» (вопреки возражениям 95 % общественности).

Для работы по целям на Юге требуются новые стратегии. Одной такой стратегией является «адаптивное планирование», допускающее быстрое развертывание действий против малых стран: например, уничтожение половины резервов фармацевтических препаратов в бедной африканской стране в 1998 г., погубившее, вероятно, десятки тысяч человек, хотя мы об этом никогда не узнаем, потому что официального расследования не будет. Робкая попытка инициировать расследование в ООН была заблокирована Вашингтоном, а если какие-то расследования и предпринимаются на Западе, то достоянием гласности они не стали. Для того чтобы игнорировать эту тему, имеются веские причины: эта бомбардировка по определению не была преступлением. Исполнитель слишком силен, чтобы совершать преступления; он лишь осуществляет «благородные миссии» в порядке самообороны, хотя иногда эти миссии не достигают

цели из-за серьезных недостатков при планировании, в силу отсутствия взаимопонимания или нежелания общественности «принять на себя бремя мирового лидерства».

Наряду с «адаптивным планированием» необходимы технологические инновации, объясняет Пентагон: например, новые «атомные мини-бомбы», предназначенные для использования против слабых и беззащитных врагов на насыщенном целями Юге.

А из важного исследования Стратегического командования США (СТРАТКОМ), выполненного в 1995 и частично рассекреченного в 1998 г., мы узнаем еще кое-что. В этом исследовании, озаглавленном «Основы сдерживания после „холодной войны“», дается обзор «основных выводов за несколько лет размышлений о роли ядерных вооружений в эпоху после „холодной войны“». Первостепенным выводом является то, что ядерные вооружения должны остаться основой политики. США, поэтому, должны игнорировать центральные положения Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которые требуют добросовестных усилий, направленных на ликвидацию ядерного оружия, и твердо отвергать всякий запрет на право первого удара. Применение ядерного оружия США может быть либо реакцией на какое-то действие, которое не понравится Вашингтону, либо «упреждающим». Вариант первого удара должен включать в себя возможность атаковать неядерные государства, подписавшие ДНЯО, вопреки международным конвенциям.

Два года назад в ноябре 1997 г. президент Клинтон официально утвердил эти рекомендации в Директиве президента 60 (Presidential Decision Directive –

PDD 60), строго засекреченной, но избирательно раскрытоей. Эта Директива санкционировала первое применение ядерного оружия и сохраняет триаду средств доставки ядерного оружия — межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), баллистические ракеты, запускаемые с подводных лодок (БРПЛ) и стратегические бомбардировщики. Все эти средства должны оставаться в «позиции „запуск по предупреждению“», тем самым продлевая режим повышенной боевой готовности прошлых лет, с его постоянно присутствующей опасностью для выживания человечества. Для выполнения этих решений были инициированы новые программы, среди них — программа использования гражданских ядерных реакторов для производства трития для ядерного оружия, пробивающая брешь в том барьере между гражданским и военным использованием атомной энергии, который стремился установить ДНЯО. Планируемая национальная система противоракетной обороны, упраздняющая Договор о противоракетной обороне, с большой вероятностью подстегнет разработку оружия массового уничтожения потенциальными противниками, которыми эта система будет восприниматься как оружие первого удара, при этом, как правдоподобно аргументируют многие стратегические аналитики, угроза случайног начала ядерной войны только повысится.

Исследование СТРАТКОМа акцентирует потребность в *достоверности* (credibility): противников, даже потенциальных, необходимо напугать. Этот момент вам сможет разъяснить любой мафиози. Вспомним, что «поддержание достоверности» было единственным серьезным аргументом, который предлагали Клинтон, Блэр и их соучастники по бомбарди-

ровкам Югославии, хотя секулярное-то священство предпочло другую трактовку, вызывающую образы этнических чисток и варварств, которых не найти в детальных записях, представленных Государственным департаментом, НАТО и прочими западными источниками, — которые, что интересно, в основном игнорируются в обширной литературе оправдания нацтакской войны. Весьма типичный пример предпочитаемой версии, взятый из *International Herald Tribune / Washington Post*, таков: «Сербия напала на Косово для того, чтобы раздавить албанское сепаратистское партизанское движение, но при этом погибли 10 тыс. мирных жителей, а 700 тыс. были вынуждены покинуть свои дома и искать прибежища в Македонии и Албании. НАТО атаковало Сербию с воздуха во имя защиты албанцев от этнических чисток, [но] при этом погибли сотни сербских мирных жителей и был спровоцирован массовый исход десятков тысяч человек из городов в сельскую местность». Что принципиально важно и не вызывает разногласий, — так это то, что порядок событий был обратным, но правду не так-то просто привести в соответствие с теми «принципами и ценностями», которые обеспечивают себе более утешительный образ.

Ядерные вооружения, объясняет СТРАТКОМ, повышают достоверность потому, что они «всегда бросают тень на любой кризис или конфликт». Они предпочтительнее, чем оружие массового уничтожения слабых потому, что «в отличие от химического и биологического оружия, крайне разрушительные последствия ядерного взрыва наступают немедленно, причем паллиативов для уменьшения его эффекта почти не существует». «Заявление по сдерживанию»,

основанное на ядерном арсенале Вашингтона, должно быть «убедительным» и «немедленно различимым». Более того, США должны «сохранять неоднозначность». Важно, чтобы «службы планирования не были излишне рациональными при определении... того, что оппонент ценит более всего», — это все должно быть избрано в качестве мишени для уничтожения. «Вредно изображать самих себя чересчур рациональными и уравновешенными». Тот «национальный образ, который мы проецируем», должен быть таким: «США могут проявить иррациональность и злопамятство, если атаке подвергнутся их жизненные интересы». Если «некоторые элементы могут представляться потенциально „неуправляемыми“, то это „благотвожно“ для нашей стратегической позиции».

Короче, мир должен признать, что мы опасны, готовы ударить по тому, что противники ценят более всего, и при этом применить оружие огромной разрушительной силы при нанесении упреждающих ударов, если сочтем это целесообразным. Тогда-то они согнутся перед нашей волей, пребывая в подобающем страхе перед нашей достоверностью.

Это — общий напор текущих стратегических планов высокого уровня, насколько они открываются общественности. Эти планы также остаются во многом такими, как прежде, но с одним фундаментальным изменением после краха врага-сверхдержавы. Теперь, замечает СТРАТКОМ, «отсутствует важное ограничение»: советские силы сдерживания. Большая часть мира это хорошо осознает, что и вскрылось, к примеру, во время войны НАТО на Балканах. Западные интеллектуалы в основном изображали ее в манере Вацлава Гавела: это исторически беспрецедентный акт чисто-

го благородства. В других же странах война обыкновенно воспринималась так, как ее нарисовал Солженицын, — даже в государствах-клиентах США. В Израиле военные комментаторы характеризовали лидеров НАТО как «опасность для мира», возврат к практикам колониальной эры под циничной личиной «моралистической праведности». При этом они предостерегали, что такие действия приведут к распространению оружия массового уничтожения и новых стратегических альянсов для противодействия сверхдержаве, воспринимаемой во многом так, как рекомендует СТРАТКОМ: как «неуправляемая». Придерживающиеся жесткой линии стратегические аналитики в Соединенных Штатах выражают схожие опасения.

Становящаяся «неуправляемой» доминирующая в мире сверхдержава обладает немалой свободой действий, если ее не сдерживает ее собственное население. Важная задача для секулярного священства — уменьшить это внутреннее ограничение. Необходимо, подобно лазерному лучу, фокусироваться на преступлениях тех, кого мы считаем на сей день врагами, при этом старательно обходя те из них, которые мы в силах смягчить или прекратить такими простыми средствами, как отказ от соучастия в них. Последние публикации по «гуманитарным интервенциям» — процветающий жанр — хорошо иллюстрируют те принципы, которыми при этом надо руководствоваться. Придется усердно поискать, чтобы найти отсылку к решающему вкладу США и их союзников в крупнейшие варварства и этнические чистки: внутри ли самого НАТО, или в Колумбии, или в Восточном Тиморе, или в Ливане, или в столь многих других уголках земного шара, где люди живут в нищете и рабстве.

Проект удержания публики в неведении, пассивности и послушании прослеживается на всем протяжении истории, но постоянно принимает новые формы. Это особенно верно тогда, когда народ добивается некоторой степени свободы и его уже не так-то просто привести к повиновению угрозой или применением насилия. За прошедший век основными примерами этого являются Англия и США. Во время Первой мировой войны обе ведущих демократии создали высокоэффективные ведомства государственной пропаганды. Целью Министерства информации Британии было «контролировать мышление мира», а особенно мышление американских интеллектуалов, которые, как тогда вполне разумно ожидалось, могли бы сыграть не последнюю роль в вовлечении США в войну. Чтобы помочь достичь этой цели, президент Вудро Вильсон основал первое в стране ведомство официальной пропаганды, названное Комитетом общественной информации, — что, конечно же, переводится как «общественной дезинформации». Деятельностью этого учреждения руководили ведущие прогрессивные интеллектуалы, и перед ним стояла задача — превратить пацифистски настроенное население в истерических джингоистов * и фанатиков войны против диких «гуннов». Эти усилия имели неимоверный успех, в том числе и скандальные фабрикации, разоблаченные спустя долгое время после того, как они сделали свое дело, и нередко возникающие даже и после разоблачения.

Эти успехи немало впечатлили многих наблюдателей, и среди них Адольфа Гитлера, который полагал,

* Ура-патриоты, шовинисты (от англ. *jingo*). — Прим. ред.

что Германия проиграла войну из-за англо-американского превосходства в пропаганде, и был полон решимости добиться того, чтобы в следующий раз на пропагандистском фронте Германия была во всеоружии. Также под глубоким впечатлением было американское бизнес-сообщество, которое осознало потенциал пропаганды для формирования установок и убеждений. Огромные отрасли пиара, рекламы и массовой культуры отчасти выросли из этого осознания – феномена неимоверной значимости в последующие годы. Упование на успех пропаганды военного времени было вполне осознанным. Один из основателей индустрии пиара, Эдвард Бернайс, в своем отраслевом учебнике «Пропаганда» (*Propaganda*) заметил, что событием, которое «немногим умницам во всех сферах жизни открыло глаза на возможности муштровки общественного сознания, оказался ошеломительный успех пропаганды во время войны». Выдающийся либерал типа Вильсона–Рузвельта–Кеннеди, Бернайс черпал вдохновение из своего опыта работы в пропагандистском ведомстве Вильсона.

Третьей группой, на которую произвели неизгладимое впечатление успехи пропаганды, стало секулярное священство – близкие к властным структурам интеллектуалы, «ответственные люди», как они сами себя определили. Эти механизмы муштровки умов есть «новое искусство в практике демократии», замечал Уолтер Липпман*. Он также работал в пропаган-

* *Липпман Уолтер* (1889–1974) – известный американский журналист, основатель и создатель еженедельника *New Republic*; лауреат Пулитцеровских премий 1958 и 1962 гг.; сторонник прекращения гонки вооружений; автор книг «Общественное мнение» (Public opinion)

дистском ведомстве Вильсона, а затем сделался самой прославленной фигурой века в американской журналистике и одним из наиболее уважаемых и влиятельных комментаторов по самым актуальным вопросам жизни общества и государства.

Мир бизнеса и интеллектуалов при власти занимала одна и та же проблема. «Буржуазия находилась в страхе перед простым народом», — замечал Бернайс. В результате «всеобщего избирательного права и всеобщего школьного образования... массы обещали стать властелином» — тенденция опасная, но ее можно взять под контроль и постепенно направить в противоположное русло новыми методами для «выковывания сознания масс», советовал Бернайс.

Та же угроза возникала и в Англии. В прежние годы формальная демократия была делом весьма ограниченным, но к началу XX в. рабочий народ смог вступить на политическую арену через посредство парламентской Лейбористской партии и организаций рабочего класса, которые могли оказывать влияние на политический выбор. В Америке рабочее движение было подавлено с немалой жестокостью, но избирательные права получали все большее распространение и становилось все труднее поддерживать тот принцип, на котором была основана страна: государство должно «защищать меньшинство обеспеченных против большинства», цитируя Джеймса Мэдисона*,

nion, 1922), «Метод свободы» (The method of freedom, 1934), «Справедливое общество» (The good society, 1937) и др. — Прим. ред.

* Мэдисон Джеймс (1751–1836) — четвертый президент США (1809–1817). На Конституционном конвенте 1787 г. представил ряд важных предложений, вошедших в Конституцию США; его называли Отцом Конституции. — Прим. ред.

самого главного из авторов Конституции, которая и учреждалась для того, чтобы «обезопасить постоянные интересы страны от любых новшеств»; такими «постоянными интересами», по убеждению Мэдисона, были права собственности. От тех, кто «не имеет собственности, либо надежды на приобретение оной, нельзя ожидать, чтобы они в достаточной степени сочувствовали сопряженным с нею правам», — предостерегал Мэдисон. Потому-то широкую общественность необходимо разделять и маргинализовывать, в то время как государство будет пребывать в руках «богатства нации», «наиболее способного класса мужей», которым можно доверить заботу о «постоянных интересах». «Люди, которые владеют страной, должны управлять ею», — так этот принцип сформулировал коллега Мэдисона Джон Джей, председатель Конституционного конвента и первый председатель Верховного суда.

Такое положение сталкивается с постоянными вызовами. К 1920-м гг. эти вызовы становились серьезными. Британская консервативная партия признала, что угрозу демократии можно локализовать путем «применения уроков» пропаганды военного времени «к организации политических баталий». В США Липпман призвал к тому, чтобы «выработка согласия» позволила «умному меньшинству» из «ответственных людей» устанавливать политику. «Публику надо поставить на место», — убеждал он, ведь тогда ответственные люди будут ограждены от «топота и рева приведенного в замешательство стада». Широкая общественность — это «невежественные и надоедливые чужаки», роль которых в демократии — быть «зрителями», а не «участниками». Они имеют право перио-

дически сообщать свой вес одному из ответственных людей, — то, что называется «выборами», — но затем им надлежит возвратиться к своим индивидуальным занятиям.

Вот это и была добрая вильсоновская доктрина, один из элементов «вильсоновского идеализма». Собственный взгляд Вильсона^{*} был таков, что элита джентльменов с «возвышенными идеалами» должна оберегать «стабильность и праведность». Это же и не плохая ленинистская доктрина; такое сравнение стоит разить, но я не буду отходить от секулярного священства западных демократий. Эти идеи имеют глубокие корни в американской истории, да и в британской истории еще со времени первой демократической революции XVII в., которая также напугала «людей лучших качеств», как они сами себя называли.

В период после Первой мировой войны к этой проблематике обращалась и академическая интеллигенция. «Энциклопедия социальных наук» (*The Encyclopaedia of Social Sciences*) в 1933 г. содержала статью о «пропаганде», написанную одним из основоположников современной политической науки, Харолдом Лассуэллом. Он предостерегал, что умное меньшинство должно признать «невежество и тупость масс» и не поддаваться «демократическим догматам по поводу того, что люди — сами наилучшие судьи своим интересам». Они — не лучшие, лучшие судьи — это мы, «ответственные люди». Ради их собственного блага, невежественные и тупые массы надо контролировать. В более демократичных обществах, где сила недоступ-

* Вильсон Томас Вудро (1856–1924) — 28-й президент США (1913–1921). — Прим. ред.

на, социальные менеджеры должны, поэтому, обратиться к «принципиально новой технике контроля, главным образом посредством пропаганды».

Эдвард Бернайс в своем учебнике «Пропаганда» 1925 года издания объяснял, что «умные меньшинства» должны «муштровать общественное сознание ровно так же, как армия муштрует тела своих солдат». Задачей умных меньшинств, прежде всего лидеров бизнеса, является «сознательное и хитроумное манипулирование организованными привычками и мнениями масс». Этот процесс «подстраивания согласия» и есть самая «суть демократического процесса», написал Бернайс незадолго до того, как в 1949 г. за свой выдающийся вклад он удостоился чествования Американской психологической ассоциации. Немалая часть современной прикладной и индустриальной психологии разрабатывалась внутри этих общих рамок. Сам Бернайс стяжал славу пропагандистской кампанией, которая побуждала женщин курить сигареты, а через несколько лет после получения своей премии он подтвердил эффективность своих методов, руководя пропагандистской составляющей уничтожения гватемальской демократии, в результате чего там установился режим террора, продержавшийся на пытках и массовых убийствах сорок лет. И «привычками и мнениями» надо «хитроумно манипулировать».

Манипулирование мнением — это обязанность СМИ, профессиональных журналов, школ, университетов и вообще образованных классов. Задача манипулирования привычками и поведенческими установками выпадает на долю популярного искусства, рекламы и огромной индустрии пиара. Ее цель, пишут лидеры бизнеса, — «упразднить вековые обычай». Один из

методов, в частности, заключается в том, чтобы создавать искусственные потребности, воображаемые нужды — прием, признававшийся эффективной техникой контроля со времени начала индустриальной революции и далее после освобождения рабов. Значительной индустрией он стал в 1920-е гг., а в последние годы достиг новых высот изощренности. В учебниках объясняется, что данная отрасль должна стремиться насадить «философию тщетности» и «отсутствия цели в жизни». Она должна находить способы «сосредоточить внимание людей на более поверхностных вещах, которые составляют большую часть потребительской моды». Тогда люди могут принять и даже приветствовать свою обессмысленную и подчиненную жизнь и забыть нелепые идеи о том, чтобы самим распоряжаться своими собственными делами. Свою судьбу они оставят ответственным людям, умным меньшинствам, секулярному священству, которые служат власти и реализуют власть — эта власть, конечно же, лежит где-то в другом месте — посыпка скрытая, но принципиально важная.

В современном мире власть сосредоточена в нескольких могущественных государствах и в частных тираниях, которые тесно с ними связаны, — становясь их «орудиями и тиранами», как давным-давно предупреждал Мэдисон. Частные тирании — это гигантские корпорации, которые доминируют в экономической, социальной и политической жизни. В своей внутренней организации эти институты приближаются к тоталитарному идеалу не менее, чем любые другие институты, какие только замышляли люди. Их интеллектуальные истоки отчасти лежат в неогегельянских доктринах о правах органических суперчеловеческих

субъектов – доктринах, которые лежат в основе и других основных форм современного тоталитаризма – большевизма и фашизма. Рост влияния корпораций в Америке подвергался ожесточенным нападкам со стороны консерваторов – категории, которая теперь едва ли не исчезла вовсе – как возврат к феодализму и «форма коммунизма», что отнюдь не безосновательно.

Еще и в 1930-е гг. дебаты по этим вопросам были в центре основных дискуссий. Данная проблематика была ликвидирована в общественном сознании под натиском корпоративной пропаганды после Второй мировой войны. Та кампания была реакцией на стремительный рост социал-демократических и еще более радикальных убеждений во время депрессии и в годы войны. Деловые публикации предостерегали об «опасности, которая грозит промышленникам при подъеме политической власти масс». Для противодействия этой угрозе были предприняты крупномасштабные усилия с тем, чтобы «вбивать гражданам в голову капиталистический нарратив» до тех пор, пока «они сами не смогут воспроизвести этот нарратив с замечательной точностью», если использовать терминологию лидеров бизнеса, которые с новыми силами посвятили себя «нескончаемой битве за умы людей». Пропагандистское наступление было неимоверным по своему масштабу – важнейшая глава в истории выработки согласия. По этой теме имеется неплохая литература для посвященных, неизвестная жертвам.

Вот каковы были излюбленные методы внутри богатых и привилегированных обществ. За их пределами, как уже обсуждалось, были доступны и более непосредственные методы, несущие в себе ужасающие издержки в виде человеческих жизней. Они приме-

нялись с последних дней Второй мировой войны для того, чтобы подорвать и уничтожить антифашистское Движение Сопротивления и реставрировать традиционный порядок, который оказался в немалой степени дискредитирован своими связями с фашизмом. Далее они были адаптированы с тем, чтобы не дать деколонизации выйти из-под контроля.

Брожение 1960-х пробудило схожие опасения в респектабельных кругах. Быть может, наиболее ясное выражение их – в первой крупной публикации Трехсторонней комиссии – группы, сформированной преимущественно из либеральных интернационалистов в трех крупнейших промышленных центрах – Европе, Японии и Соединенных Штатах: администрация Картера, включая самого президента и всех его старших советников, по преимуществу была почерпнута из ее рядов. Первая публикация комиссии была посвящена «кризису демократии», возникшему в регионах, которые представляла каждая из трех сторон. Кризис заключался в том, что в 1960-е гг. формулировать свои интересы и заботы и организованным образом выходить на политическую арену для их продвижения стремились большие группы населения, которые в норме бывают пассивны и апатичны: женщины, меньшинства, молодежь, пожилые люди и т. д., – на самом деле, почти что все население. Их «особые интересы» следует отличать от «национальных интересов» – оруэлловского термина, который на практике относится к «постоянным интересам» «меньшинства преуспевающих».

Наивные могут назвать это развитие событий шагом к демократии, но более искушенные понимают, что это – «эксцесс демократии», кризис, который

необходимо преодолеть путем возвращения «приведенного в замешательство стада» на подобающее ему место: зрителей, а не участников действия. Американский докладчик в комиссии, выдающийся ученый-политолог Гарвардского университета, со следами ностальгии описывал мир прошлого, когда Гарри Трумэн «мог управлять страной в сотрудничестве с относительно небольшим числом адвокатов и банкиров с Уолл-стрит» — счастливое состояние, которое можно было бы и вернуть, если возможно восстановить «умеренность в демократии».

Этот кризис привел в действие новую атаку на демократию, осуществляющую средствами политических решений, пропаганды и иных методов контроля за убеждениями, обычаями и установками. Параллельно, при режиме «неолиберализма» (термин сомнительный; политика не является ни «новой», ни «либеральной», если мы имеем в виду что-то напоминающее классический либерализм) было резко ограничено пространство выбора вариантов публичного действия. «Неолиберальный» режим подрывает суверенитет народа, смещая полномочия принятия решений от национальных властей к «виртуальному парламенту» инвесторов и кредиторов, прежде всего, организованных в корпоративные институты. Этот виртуальный парламент может применять право вето в отношении государственного планирования путем бегства капитала и атак на валюты, благодаря либерализации финансовых потоков, которая явилась составной частью демонтажа Бреттон-Вудской системы*,

* Бреттон-Вудская система была создана после Второй мировой войны, предусматривала фиксированные валютные курсы,

учрежденной в 1944 г. Это-то и подводит нас к текущему периоду, поднимая крупные вопросы, которые мне придется отложить неохотно, ввиду ограничений во времени.

Описанные здесь результаты и методы, использованные для их осуществления, следует поставить в один ряд с наиболее значимыми достижениями власти и ее слуг в XX в. Они указывают и на то, что, возможно, еще впереди, — но всегда с принципиально важным условием: если мы это позволим, выбор, а не необходимость.

создание Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка. Существовала до 1973 г., когда были введены плавающие курсы валют и прекращен обмен доллара на золото. — Прим. ред.

Примечания



К главе 3

1. *Block N.* The computer model of mind // D. N. Osherson, E. E. Smith (eds.). An Invitation to Cognitive Science. Vol. 3: Thinking. Cambridge, MA: MIT Press, 1990.
2. The Brain // Daedalus. 1998. Spring.
3. *Hauser M.* The Evolution of Communication. Cambridge, MA: MIT Press, 1996.
4. *Gallistel C. R.* Neurons and memory // M. S. Gazzaniga (ed.). Conversations in the Cognitive Neurosciences. Cambridge, MA: MIT Press, 1997; The replacement of general-purpose learning models with adaptively specialized learning modules // M. S. Gazzaniga (ed.). The Cognitive Neurosciences. 2nd ed. Cambridge, MA: MIT Press, 1999.
5. *Hume D.* Dialogue on Natural Religion. Цит. по рус. пер.: Юм Д. Сочинения: В 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1965. С. 323–324.
6. *Chomsky N.* «Language and cognition», welcoming address for the Conference of the Cognitive Science Society, MIT, July 1990 // D. Johnson and C. Emeling (eds.). The Future of the Cognitive Revolution. N. Y.: Oxford University Press, 1997; *Idem.* Language and nature // Mind 104.413. P. 1–61; *Idem.* New Horizons in the Study of Language and Mind. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. Многие источники, не указанные здесь, см. в последнем сборнике.
7. *Koyré A.* From the Closed World to the Infinite Universe. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1957.
8. *Thackray A.* Atoms and Powers. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1970.

9. Цит. по: *Holton G.* On the Art of Scientific Imagination // *Daedalus*. 1996. P. 183–208.
10. Цит. по: *Ramachandran V. S. and Blakeslee S.* Phantoms in the Brain. London: Fourth Estate, 1998.
11. *Russell B.* The Analysis of Matter. Leipzig: B. G. Teubner, 1929.
12. *Hawkins R. D. and Kandel E. R.* Is there a cell-biological alphabet for simple forms of learning? // *Psychological Review*. 1984. 91. P. 376–391.
13. *Frank A.* Discover. 1997. 80. Nov.
14. *Chomsky N.* Review of B. F. Skinner. *Verbal Behavior* // *Language*. 1959. 35.1. P. 26–57.
15. *Lewontin R.* // *Osherson and Smith* 1990. P. 229–246.
16. *Deacon T.* The Symbolic Species: The Co-evolution of Language and the Brain. N. Y.: Norton, 1998.
17. Актуальное обсуждение этих тем см., помимо других книг, в: *Fodor J.* The Mind Doesn't Work That Way: Scope and Limits of Computational Psychology. Cambridge, MA: MIT Press, 2000; *Marcus G.* Can connectionism save constructivism? // *Cognition*. 1998. 66. P. 153–182.
18. См. (*Chomsky* 1959); более общее обсуждение, сфокусированное на языке, см. в: *Chomsky N.* Reflections on Language. N. Y.: Pantheon, 1975.
19. О нетривиальности этого редко признаваемого допущения см. (*Fodor* 2000).
20. *Gallistel C. R. (ed.)*. Animal Cognition // *Cognition*. Special issue. 1990. 37. P. 1–2.

К главе 4

Составители выражают благодарность Марко Николису и Маноле Салюстри за помощь в редактировании гл. 4.

21. *Chomsky N.* Lectures on Government and Binding. Dordrecht: Foris Publications, 1981.

22. См., например, статьи в сб.: *Chomsky N. Essays on Form and Interpretation.* N. Y.: North Holland, 1977.
23. *Chomsky N. The Minimalist Program.* Cambridge, MA: MIT Press, 1995. Также см. введение основных понятий и эмпирических результатов минимализма в: *Uriagereka J. Rhyme and Reason.* Cambridge, MA: MIT Press, 1998.
24. *Weinberg S. The forces of nature // Bulletin of the American Society of Arts and Sciences.* 1976. 29 Apr. P. 28–29.
25. *Jakobson R. Beitrag zur allgemeinen Kasuslehre: Gesamtbedeutung der russischen Kasus // Travaux du Cercle linguistique de Prague.* 1936. VI. Англ. пер. в кн.: *Jakobson R. Russian and Slavic Grammar.* Berlin: Mouton. Рус. пер. в кн.: Якобсон Р. Избранные работы / Пер. с англ. М., 1985.
26. *Jonas D. Clause Structure and Verb Syntax in Scandinavian and English.* PhD dissertation. Harvard University, 1996; *Bellotti A. and Rizzi L. Psych-verbs and theta theory // Natural Language and Linguistic Theory.* 1988. 6. P. 291–352.
27. *Hale K. and Keyser S. J. On argument structure and the lexical expression of syntactic relations // K. Hale and S. J. Keyser (eds.). The View from Building 20.* Cambridge, MA: MIT Press, 1993; *Rizzi L. The fine structure of the left periphery // L. Haegeman (ed.). Elements of Grammar.* Dordrecht: Kluwer, 1997. P. 281–337.
28. *Cinque G. Adverbs and Functional Heads – A Cross-linguistic Perspective.* N. Y.; Oxford: Oxford University Press, 1999.
29. Обсуждение см. в: *Fodor J., Bever T. and Garrett M. The Psychology of Language.* N. Y.: McGraw-Hill, 1974.
30. *Quine W. V. O. Methodological reflections on current linguistic theory // D. Davidson and G. Harman (eds.). Semantics of Natural Language.* N. Y.: Humanities Press, 1972; *Quine W. V. O. Reply to Gilbert H. Harman // E. Hahn and P. A. Schilpp (eds.). The philosophy of W. V. Quine.* La Salle: Open Court, 1986.

31. (*Jonas* 1996).
32. *Chomsky N.* Minimalist inquiries: the framework // R. Martin, D. Michaels and J. Uriagereka (eds.). Step by Step – Essays in Minimalist Syntax in Honor of Howard Lasnik. Cambridge, MA: MIT Press, 2000.
33. *Chomsky N.* Current Issues in Linguistic Theory // J. A. Fodor and J. J. Katz (eds.). The Structure of Language. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1964. P. 50–118.
34. *Ross J. R.* Constraints on variables in syntax. PhD dissertation. MIT, 1967; *Bach E.* Questions // Linguistic Inquiry. 1971. 2. P. 153–167.
35. *Kayne R.* The Antisymmetry of Syntax. Cambridge, MA: MIT Press, 1994. См. также обсуждение в (*Chomsky* 1995 a).
36. Об управлении и принципе пустых категорий см. (*Chomsky* 1981) и многие последующие работы.
37. *Hauser M. D.* The Evolution of Communication. Cambridge, MA: MIT Press, 1996.
38. *Jacob F.* Le jeu des possibles. Paris: Fayard, 1981.
39. Комментарии редактора в: *Joos M.* (ed.). Readings in Linguistics. Washington: American Council of Learned Societies, 1957.
40. *Sapir E.* Language. N. Y.: Harcourt Brace, 1921. (Рус. пер.: *Сепир Э.* Язык. Введение в изучение речи // Сепир Э. Избранные труды по языкоznанию и культурологии. М.: Прогресс «Универс», 1993.)
41. *Skinner B. F.* Verbal Behavior. N. Y.: Appleton-Century-Crofts, 1957.
42. *D'Arcy Thomson W.* On Growth and Form. Cambridge: Cambridge University Press, 1917.
43. *Goethe J. W.* Bildung und Umbildung organischer Naturen. 1807.
44. См. классическую работу Алана Тьюринга (*Turing A.* The chemical basis of morphogenesis // Philosophical Transactions of the Royal Society of London. 1952. P. 37–72)

- и обзор по этой теме в: *Stewart I.* Life's Other Secret. N. Y.: John Wiley, 1998.
45. *Gehring W.J. and Ikeo K.* Trends in Genetics. 1999. Sept.
 46. (*Fodor* 2000).
 47. (*Lewontin* 1990).
 48. *Lieberman Ph.* The Biology and Evolution of Language. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1984.
 49. *Postal P.* Three Investigations of Extraction. Cambridge, MA: MIT Press, 1999.
 50. *Huang J.* Logical Relations in Chinese and the Theory of Grammar. PhD dissertation. MIT, 1982. О паразитических пробелах см.: *Chomsky N.* Some Concepts and Consequences of the Theory of Government and Binding. Cambridge, MA: MIT Press, 1982; а также указанные там источники.
 51. *Halle M. and Stevens K. N.* Knowledge of language and the sounds of speech // J. Sundberg, L. Nord and R. Carlson (eds.). Music, Language, Speech and Brain. London: Macmillan, 1991. P. 1–19; *Halle M.* Feature geometry and feature spreading // Linguistic Inquiry. 1995. 26. P. 1–46.

Литература к главам 1–4

- Abney S.* (1987). The English Noun Phrase in its Sentential Aspect. PhD dissertation, MIT.
- Aissen J. and Perlmutter D.* (1976). Clause reduction in Spanish. Proceedings of the Second Annual Meeting of the Berkeley Linguistic Society. 2. P. 1–30.
- Bach E.* (1971). Questions. *Linguistic Inquiry*. 2. P. 153–167.
- Baker M.* (1988). Incorporation: A Theory of Grammatical Function Changing. Chicago: Chicago University Press.
- Barss A.* (1986). Chains and Anaphoric Dependence. PhD dissertation, MIT.
- Belletti A.* (1988). The case of unaccusatives. *Linguistic Inquiry*. 19. P. 1–34.
- Belletti A.* (1990) Generalized Verb Movement. Turin: Rosenberg & Sellier.
- (1999) Italian/Romance clitics: structure and derivation // H. van Riemsdijk (ed.). *Clitics in the Languages of Europe*. The Hague: Mouton de Gruyter. P. 543–579.
 - (2001) Inversion as focalization // A. Hulke and J. Y. Pollock (eds.). *Subject Inversion in Romance and the Theory of Universal Grammar*. Oxford; N. Y.: Oxford University Press. P. 60–90.
 - (2004) *Structures and Beyond: Current Issues in the Theory of Language*. Oxford: Oxford University Press.

- Belletti A. and Rizzi L.* (1988). Psych-verbs and theta theory. *Natural Language and Linguistic Theory*. 6. P.291–352.
- (1996) Parameters and Functional Heads. Oxford; N. Y.: Oxford University Press.
- Bloch N.* (1990). The computer model of the mind // D. N. Osherson and E. E. Smith (eds.). *An Invitation to Cognitive Science*. Vol. 3. Thinking. Cambridge, MA: MIT Press.
- Bobaljik J.* (1995). Morphosyntax: The Syntax of Verbal Inflection. PhD dissertation, MIT.
- Bobaljik J. D. and Jonas D.* (1996). Subject position and the roles of TP. *Linguistic Inquiry*. 27.2. P. 195–236.
- Borer H.* (1995). The ups and downs of Hebrew verb movement. *Natural Language and Linguistic Theory*. 13. P. 527–606.
- Burzio L.* (1986). *Italian Syntax: A Government-Binding Approach*. Dordrecht: Reidel.
- Cardinaletti A. and Starke M.* (1999). The typology of structural deficiency: a case study of the three classes of pronouns // H. van Riemsdijk (ed.). *Clitics in the Languages of Europe*. The Hague: Mouton de Gruyter. P. 145–233.
- Chomsky N.* (1955). *The Logical Structure of Linguistic Theory*. PhD dissertation, University of Pennsylvania. Excerpts published by Plenum Press: N. Y., 1975. (Рус. пер.: Хомский Н. Логические основы лингвистической теории // Новое в лингвистике. Вып. IV. М.: ИЛ, 1965.)
- (1957) *Syntactic Structures*. The Hague: Mouton. (Рус. пер.: Хомский Н. Синтаксические структуры // Новое в лингвистике. Вып. II. М.: ИЛ, 1962.)
- (1959) A review of B. F. Skinner's *Verbal Behavior* 1957 // *Language*. 35. P. 26–58.
- (1964) Current issues in linguistic theory // J. Fodor and J. Katz (eds.). *The Structure of language*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. P. 50–118.

- (1965) Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge, MA: MIT Press. (Рус. пер.: Хомский Н. Аспекты теории синтаксиса. М., 1972.)
- (1970) Remarks on nominalization // R. A. Jacobs and P. S. Rosenbaum (eds.). Readings in English Transformational Grammar. Waltham, MA: Ginn. P. 184–221.
- (1973) Conditions on transformations // S. Anderson and P. Kiparsky (eds.). A Festschrift for Morris Halle. N. Y.: Holt, Rinehart, and Winston. P. 232–286.
- (1975) Reflections on Language. N. Y.: Pantheon.
- (1977) Essays on Form and Interpretation. N. Y.; Amsterdam; London: North Holland.
- (1981) Lectures on Government and Binding. Dordrecht: Foris Publications.
- (1982) Some Concepts and Consequences of the Theory of Government and Binding. Cambridge, MA: MIT Press.
- (1986 a) Knowledge of Language. N. Y.: Praeger.
- (1986 b) Barriers. Cambridge, MA: MIT Press.
- (1990) Language and cognition. Welcoming address for the Conference of the Cognitive Science Society, MIT, July // D. Johnson and C. Emeling (eds.). The Future of the Cognitive Revolution. N. Y.: Oxford University Press, 1997. (Рус. пер.: Хомский Н. Язык и проблемы знания // Вестник МГУ. Сер. 9: Философия. 1995. № 4, 6; 1996. № 2, 4, 6.)
- (1993) A minimalist program for linguistic theory // K. Hale and S. J. Keyser (eds.). The View from Building 20. Cambridge, MA: MIT Press. P. 1–52.
- (1995 a) The Minimalist Program. Cambridge, MA: MIT Press.
- (1995 b) Language and nature. Mind 104. 413. P. 1–61 // Chomsky (2000 b).

- (2000 a) Minimalist inquiries: the framework // R. Martin, D. Michaels, and J. Uriagereka (eds.). Step by Step – Essays in Minimalist Syntax in Honor of Howard Lasnik. Cambridge, MA: MIT Press.
- (2000 b) New Horizons in the Study of Language and Mind. Cambridge: Cambridge University Press.
- (2001 a) Derivation by phase // M. Kenstowicz (ed.). Ken Hale: A Life in Language. Cambridge, MA: MIT Press.
- (2001 b) Beyond Explanatory Adequacy (*Bellotti* 2004).

Cinque G. (1990). Types of A' Dependencies. Cambridge, MA: MIT Press.

- (1996) On the evidence for partial N-movement in the Romance DP // G. Cinque. Italian Syntax and Universal Grammar. Cambridge: Cambridge University Press.
- (1999) Adverbs and Functional Heads: A Cross-Linguistic Perspective. Oxford; N. Y.: Oxford University Press.

Cinque G., ed. (2001) Mapping Functional Structure. Oxford; N. Y.: Oxford University Press.

Collins C. (1997). Local Economy. Cambridge, MA: MIT Press.

D'Arcy Thompson W. (1917). On Growth and Form. Cambridge: Cambridge University Press.

Deacon T. (1998). The Symbolic Species: The Co-evolution of Language and the Brain. N. Y.: Norton.

Degraff M., ed. (1999). Language Creation and Language Change. Cambridge, MA: MIT Press.

Déprez V. (1998). Semantic effects of agreement: the case of French past participle agreement. Probus. P. 1–65.

Dobrovie-Sorin C. (1988). A propos de la structure du groupe nominal en Roumain // Rivista di grammatica generativa. 12. P. 126–151.

Emonds J. (1978). The verbal complex V'–V in French // Linguistic Inquiry. 9. P. 151–175.

- (1980) Word order in generative grammar // *Journal of Linguistic Research* 1. P. 33–54.
- Fodor J.* (2000). *The Mind Doesn't Work that Way: Scope and Limits of Computational Psychology*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Fodor J. and Katz J., eds.* (1964). *The Structure of language*. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
- Fodor J., Bever T. and Garrett M.* (1974). *The Psychology of Language: An Introduction to Psycholinguistics and Generative Grammar*. N. Y.: McGraw-Hill.
- Fox D.* (2000). *Economy and Semantic Interpretation*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Fox D. and Nissenbaum J.* (1999). Extrapolation and the nature of covert movement. MS, Harvard University.
- Frank A.* (1997). Discover 80.
- Friedin R.* (1988). Comments on Lightfoot (1988) // *Behavioral and Brain Sciences* 12.
- Friedemann M.-A. and Ruzzi L., eds.* (2000). *The Acquisition of Syntax*. London: Longman.
- Friedemann M. A. and Siloni T.* (1997). Agrobj is not Agrparticle // *The Linguistic Review*. 14. P. 69–96.
- Gallistel C. R., ed.* (1990). Animal Cognition // *Cognition*, special issue, 37. P. 1–2.
- (1997) Neurons and memory // *M. S. Gazzaniga* (ed.). *Conversations in the Cognitive Neurosciences*. Cambridge, MA: MIT Press.
 - (1999) The replacement of general-purpose learning models with adaptively specialized learning modules // *M. S. Gazzaniga* (ed.). *The Cognitive Neurosciences*, 2nd edn. Cambridge, MA: MIT Press.
- Gehring W.J. and Kazuko I.* (1999). Trends in Genetics. Sept.

- Giorgi A. and Longobardi G.* (1991). *The Syntax of Noun Phrases: Configuration, Parameters and Empty Categories*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Giorgi A. and Pianesi F.* (1997). *Tense and Aspect: From Semantics to Morphosyntax*. Oxford; N. Y.: Oxford University Press.
- Giusti G.* (1993). *La sintassi dei determinanti*. Padua: Unipress.
- Graffi G.* (1991). *La sintassi tra ottocento e novecento*. Bologna: II Mulino.
- Grewendorf G.* (2001). Multiple Wh fronting // *Linguistic Inquiry*. 32. P. 87–122
- Grimshaw J.* (1986). Subjacency and the S/S' parameter. *Linguistic Inquiry*. 17. P. 364–369.
- Hale K.* (1978). On the position of Walbiri in the typology of the base. MS, MIT.
- Hale K. and Keyser S. J.* (1993). On argument structure and the lexical expression of syntactic relations // Hale and Keyser (eds.). *The View from Building 20*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Halle M.* (1995). Feature geometry and feature spreading. *Linguistic Inquiry*. 26. P. 1–46.
- Halle M. and Stevens K. N.* (1991). Knowledge of language and the sounds of speech // J. Sundberg, L. Nord, and R. Carlson (eds.). *Music, Language, Speech and Brain*. London: Macmillan. P. 1–19.
- Hauser M.* (1996). *The Evolution of Communication*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Hawkins R. D. and Kandel E. R.* (1984). Is there a cell-biological alphabet for simple forms of learning? // *Psychological Review*. 91. P. 376–391.
- Holton G.* (1996). On the art of scientific imagination // *Daedalus*. P. 183–208.
- Hornstein N.* (1984). *Logic as Grammar*. Cambridge, MA: MIT Press.

- Huang J. (1982). Logical Relations in Chinese and the Theory of Grammar. PhD dissertation, MIT.
- Hyams N. (1986). Language Acquisition and the Theory of Parameters. Dordrecht: Reidel.
- Jackendoff R. (1977). X' Syntax: A Study of Phrase Structure. Cambridge, Mass.: MIT Press.
- Jacob F. (1981). Le jeu des possibles. Paris: Fayard.
- Jakobson R. (1936). Beitrag zur allgemeinen Kasuslehre: Gesamtbedeutung der russischen Kasus, TCLP, VI. English translation // Russian and Slavic Grammar. Berlin: Mouton, 1984. (Рус. пер.: Якобсон Р. К общему учению о падеже. Общее значение русского падежа // Якобсон Р. Избранные работы. М.: Прогресс, 1985.)
- Johnson K. (1991). Object positions // Natural Language and Linguistic Theory. 9. P. 577–636.
- Jonas D. (1996). Clause Structure and Verb Syntax in Scandinavian and English. PhD dissertation, Harvard University.
- Joos M. (1957). Readings in Linguistics. Washington: American Council of Learner Societies.
- Katz J. and Postal P. (1964). An Integrated Theory of Linguistic Descriptions. Cambridge, MA: MIT Press.
- Kayne R. (1975). French Syntax: The Transformational Cycle. Cambridge, MA: MIT Press.
- (1984) Connectedness and Binary Branching. Dordrecht: Foris Publications.
- (1989) Facets of Romance past participle agreement // P. Benincà (ed.). Dialect Variation and the Theory of Grammar. Dordrecht: Foris Publications. P. 85–103.
- (1994) The Antisymmetry of Syntax. Cambridge, MA: MIT Press.
- (2001) Parameters and Universals. Oxford; N. Y.: Oxford University Press.

- Kiss K., ed. (1995). Discourse-Configurational Languages. Oxford; N. Y.: Oxford University Press.
- Koopman H. (1983). The Syntax of Verbs. Dordrecht: Foris Publications.
- Koopman H. and Sportiche D. (1991). The position of subjects // Lingua. 85. P. 211–258.
- Koyré A. (1957). From the Closed World to the Infinite Universe. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Kuroda S. Y. (1988). Whether we agree or not: a comparative syntax of English and Japanese // W.J. Poser (ed.). Papers from the Second International Workshop on Japanese Syntax. Stanford: CSLI. P. 103–143 (also in Linguisticae Investigationes. 12. P. 1–47).
- Lasnik H. (1976). Remarks on coreference // Linguistic Analysis 2. P. 1–22.
- (1989) Essays on Anaphora. Dordrecht: Kluwer.
 - (1992) Case and expletives: notes toward a parametric account. Linguistic Inquiry. 23. P. 381–405.
- Lasnik H. and Saito M. (1992). Move Alpha: Conditions on its Application and Output. Cambridge, MA: MIT Press.
- Lebeaux D. (1988). Language Acquisition and the Form of Grammar. PhD dissertation, University of Massachusetts at Amherst.
- Lees R. B. (1960). The Grammar of English Nominalization. The Hague: Mouton.
- Lewontin R. (1990). The evolution of cognition // D. N. Osherson and E. E. Smith (eds.). An Invitation to Cognitive Science. Vol. 3. Thinking. Cambridge, MA: MIT Press. P. 229–246.
- Lieberman P. (1984). The Biology and Evolution of Language. Cambridge, MA: Harvard University Press.

- Lightfoot D.* (1989). The child's triggering experience: degree-0 learnability // *Behavioral and Brain Sciences*. 12. P. 321–375.
- Longobardi G.* (1994). Reference and proper names: a theory of N-movement in syntax and Logical Form // *Linguistic Inquiry*. 25. P. 609–665.
- Manzini M. R.* (1992). Locality: A Theory and Some of Its Empirical Consequences. Cambridge, MA: MIT Press.
- Marcus G.* (1998). Can connectionism save constructivism? // *Cognition*. 66. P. 153–182.
- May R.* (1985). Logical Form; Its Structure and Derivation. Cambridge, MA: MIT Press.
- McCloskey J.* (1996). On the scope of verb movement in Irish // *Natural Language and Linguistic Theory*. 14. P. 47–104.
- Mehler J. and Dupoux E.* (1992). Naître humain. Paris: Odile Jacob.
- Moro A.* (1990). The Raising of Predicates: Predicative Noun Phrases and the Theory of Clause Structure. Cambridge: Cambridge University Press.
- Obenauer H. G.* (1994). Aspects de la Syntaxe A'. Thèse d'Etat, Université de Paris VIII.
- Osherson D. N. and Smith E. E. (eds.)*. (1990). An Invitation to Cognitive Science. Vol. 3. Thinking. Cambridge, MA: MIT Press.
- Perlmutter D.* (1978). Impersonal passives and the unaccusative hypothesis // *Proceedings of the Fourth Annual Meeting of the Berkeley Linguistic Society*. P. 157–189.
- Pollock J.-Y.* (1989). Verb movement, Universal Grammar, and the structure of IP // *Linguistic Inquiry*. 20. P. 365–424.
- Pollock J. Y. and Poletto C.* (2001). On the left periphery of some Romance wh-questions (*Rizzi 2004*).
- Postal P.* (1999). The Investigations of Extraction. Cambridge, MA: MIT Press.

- Quine W. V. O.* (1972). Methodological reflections on current linguistic theory // D. Davidson and G. Harman (eds.). *Semantics of Natural Language*. N. Y.: Humanities Press.
- (1986) Reply to Gilbert H. Harman // E. Hahn and P. A. Schilpp (eds.). *The Philosophy of W. V. Quine*. La Salle: Open Court.
- Radford A.* (1997). *Syntax – A Minimalist Introduction*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ramachandran V. S. and Blakeslee S.* (1998). *Phantoms in the Brain*. London: Fourth Estate.
- Reinhart T.* (1976). *The Syntactic Domain of Anaphora*. PhD dissertation, MIT.
- (1983) Anaphora and Semantic Interpretation. Chicago: University of Chicago Press.
- (1995) Interface strategies. *OTS Working Papers*, University of Utrecht.
- Ritter E.* (1991). Two functional categories in Noun Phrases: evidence from Modern Hebrew // S. Rothstein (ed.). *Perspectives on Phrase Structure: Heads and Licensing* // *Syntax and Semantics* 26. N. Y.: Academic Press. P. 37–62.
- Rizzi L.* (1976). Ristrutturazione // *Rivista di grammatica generativa*. 1. P. 1–54.
- (1978) Violations of the Wh Island Constraint in Italian and the Subjacency Condition // *Montreal Working Papers in Linguistics* II.
- (1982) Issues in Italian Syntax. Dordrecht: Foris Publications.
- (1990) Relativized Minimality. Cambridge, MA: MIT Press.
- (1997 a) A parametric approach to comparative syntax: properties of the pronominal system // L. Haegeman (ed.). *The New Comparative Syntax*. London; N. Y.: Longman. P. 268–285.

- (1997 b) The fine structure of the left periphery // L. Haegeman (ed.). *Elements of Grammar*. Dordrecht: Kluwer. P. 281–337.
- (2000) Comparative Syntax and Language Acquisition. London: Routledge.
- (2001 a) Relativized minimality effects // M. Baltin and C. Collins (eds.). *Handbook of Syntactic Theory*. Oxford: Blackwell. P. 89–110.
- (2001 b) Extraction from Weak Islands, Reconstruction and Agreement. MS, University of Siena.
- (2004) The Structure of CP and IP. Oxford: Oxford University Press.
- *Roberts I.* (1993). *Verbs and Diachronic Syntax*. Dordrecht: Kluwer.
- (2004) The fine structure of the C-system in some Celtic languages. MS, Cambridge University (*Rizzi 2004*).

Rosenbaum P. S. (1967). *The Grammar of English Predicate Complement Constructions*. Cambridge, MA: MIT Press.

Ross J. R. (1967). *Constraints on Variables in Syntax*. PhD Dissertation, MIT.

- (1986) *Infinite Syntax!* Norwood, NJ: Ablex.

Russell B. (1929). *The Analysis of Matter*. Leipzig: Teubner.

Sapir E. (1921). *Language*. N. Y.: Harcourt Brace. (Рус. пер.: Сепир Э. *Язык. Введение в изучение речи* // Сепир Э. *Избранные труды по языкоznанию и культурологии*. М.: ИГ «Прогресс» «Универс», 1993.)

Saussure F. de (1916/1972). *Cours de linguistique générale*. Paris: Payot. (Рус. пер.: *Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики* // Соссюр Ф. де. *Труды по языкоznанию*. М.: Прогресс, 1977; *Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики*. М.: УПСС, 2004.)

- Shlonsky U.* (1997). Clause Structure and Word Order in Hebrew and Arabic: An Essay in Comparative Semitic Syntax. Oxford; N. Y.: Oxford University Press.
- Sigurdsson H.* (2000). To be and oblique subject: Russian vs. Icelandic // Working Papers in Scandinavian Syntax. 66. P. 1–32.
- Siloni T.* (1997). Noun Phrases and Nominalizations. Dordrecht: Kluwer.
- Skinner B. F.* (1957). Verbal Behavior. N. Y.: Appleton-Century-Crofts.
- Sportiche D.* (1981). Bounding nodes in French // The Linguistic Review. 1. P. 219–246.
- (1998) Partitions and Atoms of Clause Structure: Subjects, Agreement, Case and Clitics. London; N. Y.: Routledge.
- Starke M.* (2001). Move Dissolves into Merge. Doctoral Dissertation, University of Geneva.
- Stewart I.* (1998). Life's Other Secret. N. Y.: John Wiley.
- Szabolcsi A.* (1994). The Noun Phrase // F. Kiefer and K. E. Kiss (eds.). The Structure of Hungarian // Syntax and Semantics 27. N. Y.: Academic Press. P. 179–274.
- (1999) Weak Islands. Syn Com Case Studies / M. Everaert and H. van Riemsdijk (eds.). University of Utrecht, University of Tilburg.
- Thackray A.* (1970). Atoms and Power. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Torrego E.* (1995). On the nature of clitic doubling // H. Campos and P. Kempchinsky (eds.). Evolution and Revolution in Linguistic Theory. Georgetown University Press.
- Turing A.* (1952). The chemical basis of morphogenesis // Philosophical Transactions of the Royal Society of London. P. 37–72.
- Uriagereka J.* (1995). Aspects of the syntax of clitic placement in Western Romance // Linguistic Inquiry. 26. P. 79–123.

- (1998) Rhyme and Reason – An Introduction to Minimalist Syntax. Cambridge, MA: MIT Press.
- Vergnaud J.-R. (1982). Dépendances et niveaux de représentation en syntaxe. Thèse de doctorat d'état, Université de Paris VII.
- Vikner S. (1997). V to I and inflection for person in all tenses // L. Haegeman (ed.). The New Comparative Syntax. Harlow: Longman. P. 189–213.
- Watanabe A. (1992). Subjacency and S-structure movement of *wh in situ* // Journal of East Asian Linguistics. 1. P. 255–291.
- Weinberg S. (1976). The forces of nature // Bulletin of the American Society of Arts and Sciences. 29.4. P. 28–29.
- Wexler K. (1994). Optional infinitives, head movement and the economy of derivation // D. Lightfoot and N. Hornstein (eds.). Verb Movement. Cambridge: Cambridge University Press. P. 305–350.
- (1998) Very early parameter setting and the Unique Checking Constraint: a new explanation of the optional infinitive stage // Lingua. 106. P. 23–79.
- Williams E. (1981). Argument structure and morphology // The Linguistic Review 1. P. 81–114.
- (1984) There insertion // Linguistic Inquiry. 15. P. 131–153.
- (1997) Blocking and anaphora // Linguistic Inquiry. 28. P. 577–628.
- Wilson E. O. (1998). The brain // Daedalus. Spring.
- Zaenen A., Maling J. and Thráinsson H. (1985). Case and grammatical functions: the Icelandic passive // Natural Language and Linguistic Theory 3. P. 441–483.

В книге «О природе и языке» Ноам Хомский излагает свои взгляды на отношение между языком, мышлением и мозгом, включая при этом современные лингвистические исследования в широкое поле неврологии. Книгу открывает написанное ярким и живым языком введение ее редакторов-составителей Адрианы Беллетти и Луиджи Рицци. Далее следуют статьи Хомского, написанные в последние годы и посвященные указанной тематике, а также интервью, в котором Хомский дает ясное и изящное введение в современную лингвистическую теорию. Это делает его Минималистскую программу доступной для всех. Книга завершается очерком о роли интеллектуалов в обществе и властных структурах. Эта книга является знаменательной вехой в развитии лингвистической теории. Ее с интересом прочтут студенты филологических вузов и исследователи-лингвисты, специалисты по нейролингвистике и политологи, как, впрочем, и все, кто интересуется новыми идеями Хомского.

Ноам Хомский — профессор Отделения лингвистики и философии Массачусетского технологического института. Он пишет и читает лекции на самые различные темы, включая лингвистику, философию, историю интеллектуализма. Среди его работ последних лет — «Минималистская программа» и «Новые горизонты исследования языка и мышления».

Н. Хомский — автор многочисленных научных работ, ряд которых переведен на русский язык: «Аспекты теории синтаксиса» (1972); «Язык и мышление» (1972); «Введение в формальный анализ естественных языков» (совм. с Дж. Миллером. URSS, 2003); «Вопросы теории порождающей грамматики» (в кн.: «Философия языка» под ред. Дж. Р. Сёрла. URSS, 2004); «Современные исследования по теории врожденных идей» (там же); «Прибыль на людях» (2002); «Новый военный гуманизм» (2002); «Картезианская лингвистика. Глава из истории рационалистической мысли» (URSS, 2005) и др.

1915 ID 24706



9 785484 001941 >

НАУЧНАЯ И УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА



E-mail: URSS@URSS.ru

Каталог изданий в Интернете:

<http://URSS.ru>

Тел./факс: 7 (095) 135-42-16

Тел./факс: 7 (095) 135-42-46

Любые отзывы о настоящем издании, а также обнаруженные опечатки присылайте по адресу URSS@URSS.ru. Ваши замечания и предложения будут учтены и отражены на web-странице этой книги в нашем интернет-магазине <http://URSS.ru>